

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



2098186378

СЕРГЕЙ
ГАНДЛЕВСКИЙ

СЧАСТЛИВАЯ
ОШИБКА

CoRpus

18+

СЕРГЕЙ
ГАНДЛЕВСКИЙ

СЧАСТЛИВАЯ
ОШИБКА

СТИХИ
И
ЭССЕ О СТИХАХ



издательство **АСТ**
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6я44
Г19

Художественное оформление и макет **АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО**

Фотография на обложке **ВЛАДИМИРА ЭФРОИМСОНА**

Гандлевский, Сергей Маркович

Г19 **Счастливая ошибка : стихи и эссе о стихах / СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ. —**
Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2019. — 256 с.

ISBN 978-5-17-111199-1

Биография Сергея Гандлевского (1952) типична для целого круга авторов: невозможность быть изданным в СССР по идеологическим и эстетическим причинам, отщепенство, трения с КГБ, разъезды по стране экспедиционным рабочим и т. п. Вместе с Александром Сопровским, Татьяной Полетаевой, Александром Казинцевым, Бахытом Кенжеевым, Алексеем Цветковым он входил в поэтическую группу "Московское время". Признание к обитателям культурного "подполья" пришло в 1990-е годы.

Гандлевский — лауреат нескольких литературных премий, его стихи и проза переведены на многие языки.

"Счастливая ошибка" — наиболее полное на сегодняшний день собрание стихов Сергея Гандлевского. В книгу также включены эссе, в которых автор делится своими мыслями о поэзии.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

ISBN 978-5-17-111199-1

© С. Гандлевский, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО "Издательство АСТ", 2019
Издательство CORPUS ®

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЗДНИК (1973–1994)

Стансы	9
I	15
II	39
III	65
IV	93

СТИХОТВОРЕНИЯ

1995–2018 ГОДОВ	131
-----------------------	-----

ДОМАШНЯЯ РАБОТА *(Рассуждения о поэзии)*

От автора	193
Танцы за плугом	195
Польза поэзии	203
Трудное удовольствие	207
Эники-беники	213
Две поэзии	217
Волшебная скрипка	223
Та-та-та-та — мечта поэта	231
Как, что, кто... ..	235
Парадокс акына	241

ПРАЗДНИК

(1973–1994)

СТАНСЫ

Памяти матери

I

*Говори. Что ты хочешь сказать? Не о том ли, как шла
Городскою рекою баржа по закатному следу,
Как две трети июня, до двадцать второго числа,
Встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету,
Как дыхание липы сквозит в духоте площадей,
Как со всех четырех сторон света гремело в июле?
А что речи нужна позарез подоплека идей
И нешуточный повод — так это тебя обманули.*

II

*Слышишь: гнилью арбузной пахнул овощной магазин,
За углом в подворотне грохочет порожняя тара,
Ветерок из предместий донес перекличку дрезин,
И архивной листвою покрылся асфальт тротуара.
Урони кубик Рубика наземь, не стоит труда,
Все расчеты насмарку, поешь на дожде винограда,
Сидя в тихом дворе, и воочью увидишь тогда,
Что приходит на память в горах и расщелинах ада.*

ПРАЗДНИК (1973–1994)

III

*И иди, куда шел. Но, как в бытность твою по ночам,
И особенно в дождь, будет голою веткой упрямо,
Осязая оконные стекла, программный анчар
Трогать раму, что мыла в согласии с азбукой мама.
И хоть уровень школьных познаний моих невысок,
Вижу как наяву: сверху вниз сквозь отверстие в колбе
С приснопамятным шелестом сыпался мелкий песок.
Немудрящий прибор, но какое раздолье для скорби!*

IV

*Об пол злостью, как тростью, ударь, шельмовства не тая,
Испитой шарлатан с неизменною шаткой треногой,
Чтоб прозрачная призрачная распустилась струя
И озоном запахло под жэковской кровлей убогой.
Локтевым электричеством мебель ужалит — и вновь
Говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста,
Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь
Это гиблое время и Богом забытое место.*

V

*В это время вдовец Айзенштадт, сорока семи лет,
Колобродит по кухне и негде достать пипольфена.
Есть ли смысл веселиться, приятель, я думаю, нет,
Даже если он в траурных черных трусах до колена.
В этом месте, веселье которого есть питье,
За порожнюю тарой выдавшие виды ребята
За Серегу Есенина или Андрюху Шенью
По традиции пропили очередную зарплату.*

VI

*После смерти я выйду за город, который люблю,
И, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи,
Одержимый печалью, в осенний простор протрублю
То, на что не хватило мне слов человеческой речи.
Как баржа уплывала за поздним закатным лучом,
Как скворчало железное время на левом запястье,
Как заветную дверь отпирали английским ключом...
Говори. Ничего не поделаешь с этой напастью.*

1987

I



Среди фанерных переборок
И дачных скрипов чердака
Я сам себе далек и дорог,
Как музыка издалека.
Давно, сырым и нежным летом,
Когда звенел велосипед,
Жил мальчик — я по всем приметам,
А, впрочем, может быть, и нет.

— Курить нельзя и некрасиво...

Все выше старая крапива
Несет зловещие листы.
Марина, если б знала ты,
Как горестно и терпеливо
Душа искала двойника!

Как музыка издалека,
Лишь сроки осени подходят,
И по участкам жгут листву,
Во мне звенит и колобродит
Второе детство наяву.

Чай, лампа, затеррасный сумрак,
Сверчок за тонкою стеной
Хранили бережный рисунок
Меня, не познанного мной.

С утра, опешивший спросонок,
Покрыв рубашкой худобу,
Под сосны выходил ребенок
И продолжал свою судьбу.
На ветке воробей чирикал —
Господь его благослови!
И было до конца каникул
Сто лет свободы и любви!



М. Т.

Сигареты маленькое пекло.
Тонкий дым разбился об окно.
Сумерки прокручивают бегло
Кроткое вечернее кино.
С улицы вливается в квартиру
Чистая голландская картина —
Воздух пресноводный и сырой,
Зимнее свечение ниоткуда,
Конькобежцы накануне чуда
Заняты подробною игрой.
Кактусы величественно чахнут.
Время запирается и зевать.
Время чаепития и шахмат,
Кошек из окошек зазывать.
К ночи глуше, к ночи горше звуки —
Лифт гудит, парадное стучит.
Твердая горошина разлуки
В простынях незримая лежит.
Милая, мне больше длиться нечем.
Потому с надеждой, потому
Всем лицом печальным человечьим
В матовой подушке утону.

... Лунатическим током пронизан,
По холодным снастям проводов,
Громкой кровельной жести, карнизам
Выхожу на отчетливый зов.

Синий снег под ногами босыми.
От мороза в груди колотье.
Продвигаюсь на женское имя —
Наилучшее слово мое.

Узнаю сквозь прозрачные веки,
Узнаю тебя, с чем ни сравни.
Есть в долинах великие реки —
Ты проточным просторам сродни.
Огибая за кровлею кровлю,
Я тебя воссоздам из ночей
Вороною бездомною кровью —
От улыбки до лунок ногтей.

Тихо. Половицы воровато
Полоснула лунная фольга.
Вскорости янтарные квадраты
Рухнут на пятнистые снега.
Электричество включат — и снова
Сутолока, город впереди.
Чье-то недослышанное слово
Бродит, не проклюнется в груди.
Зеркало проточное померкло.
Тусклое бессмысленное зеркало,
Что, скажи, хоронишь от меня?
Съежилась ночная паутина.
Так на черной крышке пианино
Тает голубая пятерня.



До колючих седин доживу
И тогда извлеку понемножку
Сотню тысяч своих дежавю
Из расколотой глиняной кошки.

Народился и вырос большой,
Зубы резались, голос ломался,
Но зачем-то явился душой
Неприкаянный облик ромansa.

Для чего-то на оклик ничей
Зазывала бездомная сила
И крутила, крутила, крутила
Черно-белую ленту ночей.

Эта участь — нельзя интересней.
Горе, я ли в твои ворота
Не ломился с юродивой песней,
Полоумною песней у рта!

1973



Я смежу беспокойные теплые веки,
Я уйду ночевать на снегу Кызгыча,
Полуплач-полуимя губами шепча, —
Пусть гремят вертикальные реки.

Через тысячу лет я проснусь поутру,
Я очнусь через тысячу лет, будет тише
Грохот сизой воды. Так иди же, иди же!
Как я спал, как я плакал, я скоро умру!

1973



Есть старый флигель угловатый
В одной неназванной глуши.
В его стенах живут два брата,
Два странных образа души.

Когда в ночной надмирный омут,
Робея, смотримся, как встарь,
Они идут в одну из комнат,
В руке у каждого фонарь.

В янтарных полукружьях света
Тогда в светелке угловой
Видны два женские портрета,
И каждый брат глядит на свой.

Легко в покоях деревенских.
Ответно смотрят на двоих
Два облика, два лика женских,
Две жизни бережных моих.

Будь будущее безымянным.
Будь прошлое светлым-светло.
Все не наскучит братьям странным
Смешное это ремесло.

Но есть и третий в доме том,
Ему не сторожить портрета,
Он запирает старый дом
И в путь берет котомку света.

Путем кибиток и телег
Идет полями и холмами,
Где голубыми зеркалами
Сверкают поймы быстрых рек.

1973



А. Ц.

Как просто все: толпа в буфете,
Пропеллер дрогнет голубой, —
Так больше никогда на свете
Мы не увидимся с тобой.

Я сяду в рейсовый автобус.
Царапнет небо самолет —
И под тобой огромный глобус
Со школьным скрипом поплывет.

Что проку мямлить уверенья,
Божиться гробовой доской!
Мы твердо знаем, рвутся звенья
Кургузой памяти людской.

Но дни листая по порядку
В насущных поисках добра,
Увижу утлую палатку,
Услышу гомон у костра.

Коль на роду тебе дорога
Написана, найди себе
Товарища, пускай с тревогой,
Мой милый, помнит о тебе.

1974



Цыганскому зуду покорны,
Набьем барахлом чемодан.
Однажды сойдем на платформы
Чужих оглушительных стран.

Метельным плутая окольным
Февральским бедовым путем,
Однажды над городом Кельном
Настольные лампы зажжем.

Потянутся дымные ночи —
Good bye, до свиданья, adieu.
Так звери до жизни охочи,
Так люди страшатся ее.

Под старость с баулом туристским
Заеду — тряхну стариной —
С лицом безупречно австрийским,
С турецкой, быть может, женой.

The sights необъятного края:
Байкал, Ленинград и Ташкент,
Тоскливо слова подбирая,
Покажет толковый студент.

Огромная русская суша.
Баул в стариковской руке.
О чем я спрошу свою душу
Тогда, на каком языке?



Сотни тонн боевого железа
Нагнетали под стены Кремля.
Трескотня тишины не жалела,
Щекотала подошвы земля.

В эту ночь накануне парада
Мы до часа ловили такси.
Накануне чужого обряда,
Незадолго до личной тоски.

На безлюдье под стать карантину
В исковерканной той тишине
Эта полночь свела воедино
Все, что чуждо и дорого мне.

Неудача бывает двуликой.
Из беды, где свежают сердца,
Мы выходим с больною улыбкой,
Но имеем глаза в пол-лица.

Но всегда из батального пекла,
Столько тысяч оставив в гробах,
Возвращаются с привкусом пепла
На сведенных молчаньем губах.

Мать моя народила ребенка,
А не куклу в гремучей броне.
Не пытайте мои перепонки,
Дайте словом обмолвиться мне.

Колотило асфальт под ногою.
Гнали танки к Кремлевской стене.
Здравствуй, горе мое дорогое,
Горстка жизни в железной стране!

1974

ДЕКАБРЬ 1977 ГОДА

Штрихи и точки нотного письма.
Кленовый лист на стареньком пюпитре.
Идет смычок, и слышится зима.
Ртом горьким улыбнись и слезы вытри,
Здесь осень музицирует сама.

Играй, октябрь, зажмурься, не дыши.
Вольно мне было музыке не верить,
Кощунствовать, угрюмо браконьерить
В скрипичном заповеднике души.

Вольно мне очутиться на краю
И музыку, наперсницу мою, —
Все тридцать три широких оборота —
Уродовать семьюдестью восьмью
Вращениями хриплого фокстрота.

Условимся о гибели молчать.
В застолье нету места укоризне
И жалости. Мне скоро двадцать пять,
Мне по карману праздник этой жизни.

Холодные созвездия горят.
Глухого мироздания не корят
Остывшие Ока, Шексна и Припять.
Поэтому я предлагаю выпить
За жизнь с листа и веру наугад.
За трепет барабанных перепонок.
В последний день, когда меня спросонюк

По имени окликнут в тишине,
Неведомый пробудится ребенок
И втайне затоскует обо мне.

Условимся — о гибели молчок.
Нам вечность беззаботная не светит.
А если кто и выронит смычок,
То музыка сама себе ответит.

ДРУЗЬЯМ-ПОЭТАМ

Подступал весенний вечер.
Ветер исподволь крепчал.
С ближней станции диспетчер
В рупор грубое кричал.
В лужах желтые ботинки
Пачкал модный пешеход.
В чистом небе, как чайники,
Вился птичий хоровод.

В этот славный вечер длинный,
Праздник неба и земли,
Вдоль по улице старинной
Трое странные прошли.
Первый двигался улиткой,
Усом долог, ростом мал,
Злобной заячьей улыбкой
Небо кроткое пугал.

Рядом с первым неуклюже
Нечто женское брело,
Опрокидывалось в лужи,
В кулаке башмак несло.
Третий зверь, поросший мехом,
Был неряшлив и сутул.
Это он козлиным смехом
Смутный воздух полоснул.

Трех уродцев мучил насморк —
Так и шмыгали втроем.

Переругивались наспех,
Каждый плакал о своем.
Три поэта ждали смерти,
Воду перчили тоской,
За собой на длинной жерди
Флаг тащили шутовской.

Боже! Я дышу неровно,
Глядя в реки и ручьи,
Я люблю беспрекословно
Все творения Твои.
Понимаю снег и иней,
Но понять не хватит сил,
Как Ты музыкою синей
Этих троллей наделил!



Ружейный выстрел в роще голой.
Пригоршня птиц над головой.
Еще не речь, уже не голос —
Плотины клекот горловой.

Природа ужаса не знает.
Не ставит жизни смерть в вину.
Лось в мелколесье исчезает,
Распространя тишину.

Пусть длится, только бы продлилась
Минута зренья наповал,
В запястьях сердце колотилось,
Дубовый желоб ворковал.

Ничем души не опечалим.
Весомей счастья не зови.
Да будет осень обещаьем,
Кануном снега и любви.

1975



Чуть свет, пока лучи не ярки,
Еще при утренней звезде,
Скользить в залатанной байдарке
По голой пасмурной воде.

Такая тихая погода
Лишь в этот час над головой,
И наискось уходит в воду
Блесна на леске голубой.

Здесь разве только эти громки
Удары сердца в тишине
Да две певучие воронки
Из-под весла на глубине.

Здесь жизнь в огрехах и ошибках
(Уже вчерашнюю на треть)
Легко, как озеро в кувшинках,
Из-под ладони оглядеть.

Она была не суетлива,
Не жестока, не холодна.
Всего скорее справедлива
Была, наверное, она.

1975



Я был зверком на тонкой пуповине.
Смотрел узор морозного стекла.
Так замкнуто дышал посередине
Младенчества — медвежьего угла.
Струилось солнце пыльной полоской.
За кругом круг вершила кровь по мне.
Так исподволь накатывал извне
Времен и судеб гомон вавилонский,
Но маятник трудился в тишине.

Мы бегали по отмелям нагими —
Детей косноязычная орда, —
Покуда я в испарине ангины
Не вызубрил твой облик навсегда.
Я телом был, я жил единым хлебом,
Когда из тишины за слогом слог
Чудное имя Лесбия извлек,
Опешившую плоть разбавил небом —
И ангел тень по снегу поволок.

Младенчество! Повремени немного.
Мне десять лет. Душа моя жива.
Я горький сплав лимфоузлов и Бога —
Уже с преобладаньем божества..

... Утоптанная снежная дорога.
Облупленная школьная скамья.
Как поплавок, дрожит и тонет сердце.
Крошится мел. Кусая заусенцы,

Пишу по буквам: “Я уже не я”.
Смешливые надежные друзья —
Отличники, спортсмены, отщепенцы
Печалются. Бреду по этажу,
Зеницы отверзаю, обвожу
Ладонью вдруг прозревшее лицо,
И мимо стендов, вымпелов, трапеций
Я выхожу на школьное крыльцо.
Пять диких чувств сливаются в шестое.
Январский воздух — лезвием насквозь.
Держу в руках, чтоб в снег не пролилось,
Грядущей жизни зеркало пустое.



Без устали вокруг больницы
Бежит кирпичная стена.
Худая скомканная птица
Кружит под небом дотемна.
За изгородью полотняной
Белья, завесившего двор,
Плутает женский гомон странный,
Струится легкий разговор.

Под плеск невяности беспечной
В недостопамятные дни
Я ощутил толчок сердечный
Толчку подземному сродни.
Потом я сделался поэтом,
Проточным голосом — потом,
Сойдясь московским ранним летом
С бесцельным беличьим трудом.

.....

Возьмите все, но мне оставьте
Спокойный ум, притихший дом,
Фонарный контур на асфальте
Да сизый тополь под окном.
В конце концов, не для того ли
Мы знаем творческую власть,
Чтобы хлебнуть добра и боли —
Отгоревать и не проклясть!

1973

II



Что ж, зима. Белый улей распахнут.
Тихим светом насыщена тьма.
Спозаранок проснутся и ахнут,
И помедлят, и молвят: “Зима”.

Выпьем чаю за наши писанья,
За призвание весельчака.
Рафинада всплывут очертанья.
Так и тянет шепнуть: “До свиданья”.
Вечер долог, да жизнь коротка.

1976



Раздвину занавеси шире.
На кухню поутру войду.
Там медный маятник, и гири
Позвякивают на ходу.

Кукуй, кухонная кукушка!
Немало в жизни ерунды —
Пахнет приплюснутая кружка
Железом утренней воды,

И вроде не было в помине
Меня на свете никогда —
Такие блики на гардине,
Такая юная вода!

Пусть в небе музыка играет,
А над моею головой
Комичный клювик разевает
Подобье птицы роковой!

1976



Мы знаем приближение грозы,
Бильярдного раскатистого треска —
Позвякивают ведра и тазы,
Кликушествует злая занавеска.

В такую ночь в гостинице меня
Оставил сон и вынудил к беседе
С самим собой. Педальми звеня,
Горбун проехал на велосипеде
В окне моем. Я не зажег огня.

Блажен, кто спит. Я встал к окну спиной.
Блажен, кто спит в разгневанном июле.
Я в сумерки вгляделся — предо мной
Сиделкою душа спала на стуле.

Давно ль, скажи, ты девочкой была?
Давно ль провинциалкой босоногой
Ступни впервые резала осокой,
И плакала, и пела? Но сдала
И, сидя, спишь в гостинице убогой.

Морщинки. Рта порочные углы.
Тяжелый сон. Виски в капли пота.
И страшно стало мне в коробке мглы —
Ужели это все моя работа?!

С тех пор боюсь: раскаты вдалеке
Поднимут за полночь настойчиво и сухо —

На стуле спит усталая старуха
С назойливой мухой на щеке.

Я закричу, умру — горбун в окне,
Испуганная занавесь ворвется.
Душа вздрогнёт, медлительно очнется,
Забудет все, отдаст усталость мне
И девочкой к кому-нибудь вернется.



Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом
Хвойной тропинкой взошли на обветренный холм
И примостились бок о бок над самым оврагом —
Я под сосною, а ты на откосе сухом.
В то, что предстало тогда потемневшему взору,
Трудно поверить: закатная медная ширь,
Две-три поляны, сосняк и большие озера,
В самом большом отразился лесной монастырь.
Прежде чем тронуться в путь монастырской дорогой,
Еле заметной в оправе некошенных трав,
Мы битый час провели на поляне пологой,
Долго сидели, колени руками обняв.
Помнишь картину? Охотники лес покидают.
Жмутся собаки к ногам. Вечереет. Февраль.
Там в городишке и знать, вероятно, не знают
Всех приключений. Нам нравилась эта печаль.
Было так грустно, как будто бы все это было —
Две-три поляны, озера, щербатый паром.
Может, и было, да легкое сердце забыло.
Было и горше, но это уже о другом.

1976



Бывают вечера — шатается под ливнем
Трава, и слышен водосточный хрип.
Легко бродить и маяться по длинным
Аллеям монастырских лип.

Сквозь жизнь мою доносится удушье
Московских лип, и хочется в жилье,
Где ты марала ватман черной тушью
И начиналось прошлое мое.

Дитя надменное с этюдником отцовским,
Скажи, едва ли не вчера
Нам по арбатским кухням стариковским
Кофейник звякал до утра?

Нет, я не о любви, но грустно старожиллом
Вдруг ощутить себя. Так долго мы живем,
Что, кажется, не кровь идет по жилам,
А неуклюжий чернозем.

Я жив, но я другой, сохранно только имя.
Лишь обернись когда-нибудь —
Там двойники мои верстами соляными
Сопровождают здешний путь.

О если бы я мог, осмелился на йоту
В отвесном громыхании аллея
Вдруг различить связующую ноту
В расстроенном звучанье дней!

1976



Сегодня дважды в ночь я видел сон.
Загадочный, по существу, один
И тот же. Так цензура сновидений,
Усердная, щадила мой покой.
На местности условно городской
Столкнулись две машины. Легковую
Тотчас перевернуло. Грузовик
Лишь занесло немного. Лобовое
Стекло его осыпалось на землю,
Осколки же земли не достигали,
И звона не случилось. Тишина
Вообще определяла обстановку.
Покорные реакции цепной,
Автомобили, красные трамваи,
Коверкая железо и людей,
На площадь вылетали, как и прежде,
Но площадь не рассталась с тишиной.
Два битюга (они везли повозку
С молочными бидонами) порвали
Тугую упряжь и скакали прочь.
Меж тем из опрокинутых бидонов
Хлестало молоко, и желоба,
Стальные желоба трамвайных рельсов,
Полны его. Но кровь была черна.
Оцепенев, я сам стоял поодаль
В испарине кошмара. Стихло все.
Вращаться продолжало колесо
Какой-то опрокинутой "Победы".
Спиною к телеграфному столбу

Сидела женщина. Ее черты,
Казалось, были сызмальства знакомы
Душе моей. Но смертная печать
Видна уже была на лице женском.
И тишина.

Так в клубе деревенском
Кинемеханик вечно пьян. Динамик,
Конечно, отказал. И в темноте
Кромешной знай себе стрекочет старый
Проектор. В золотом его луче
Пылинки пляшут. Действие без звука.

Мой тяжкий сон, откуда эта мука?
Мне чудится, что мы у тех времен
Без устали скитаемся на ощупь,
Когда под звук трубы на ту же площадь
Повалим валом с четырех сторон.
Кто скажет заключительное слово
Под сводами последнего Суда,
Когда лиловым сумеркам Брюллова
Настанет срок разлиться навсегда?
Нас смоет с полотняного экрана.
Динамики продует медный вой.
И лопнет высоко над головой
Пифагорейский воздух восьмигранный.



Грешный светлый твой лоб поцелую,
Тотчас хрипло окликну впустую,
Постою, ворочусь домой.
Вот и все. Отключу розетку
Телефона. Запью таблетку
Люминала сырою водой.

Спать пластом поверх одеяла.
Медленно в изголовье встала
Рама, полная звезд одних.
Звезды ходят на цыпочках около
Изголовья, ломятся в стекла —
Только спящему не до них.

Потому что до сумерек надо
Высоту навестить и прохладу
Льда, свободы, воды, камней.
Звук реки — или Терек снежный,
Или кран перекрыт небрежно.
О, как холодно крови моей!

Дальше, главное не отвлекаться.
Засветло предстоит добраться
До шоссе на Владикавказ,
Чтобы утром... Но все по порядку.
Прежде быть на почте. Тридцатку
Получить до закрытия касс.

Чтобы первым экспрессом в Тбилиси
Через нашатырные выси, —
О, как лоб твой светлый горяч!
Авлабар обойду, Окроканы...
Что за чушь! Не закрыты краны —
То ли смех воды, то ли плач —

Не пойму. Не хватало плакать.
Впереди московская слякоть.
На будильнике пятый час.
Ангел мой! Я тебя не неволю.
Для того мне оставлено, что ли,
Море Черное про запас!



Когда волнуется желтеющее пиво,
Волнение его передается мне.
Но шумом лебеды, полыни и крапивы
Слух полон изнутри, и мысли в западне.
Вот белое окно, кровать и стул Ван Гога.
Открытая тетрадь: слова, слова, слова.
Причин для торжества сравнительно немного.
Категоричен быт и прост, как дважды два.

О, искуитель-змей, аптечная гадюка,
Ответь, пожалуйста, задачу разреши:
Зачем доверил я обманчивому звуку
Силлабику ума и тонику души?
Мне б легчиком летать и китобоем плавать,
А я по грудь в беде, обиде, лебедь,
Знай, камешки мечу в загадочную заводь,
Веду подсчет кругам на глянцевой воде.

Того гляди сгребут, оденут в мешковину,
Обреют наголо, палач расправит плеть.
Уже не я — другой — взойдет на седловину
Айлара, чтобы вниз до одури смотреть.
Храни меня, Господь, в родительской квартире,
Пока не пробил час примерно наказать.
Наперсница душа, мы лишнего хватили.
Я снова позабыл, что я хотел сказать.

1979



Здесь реки кричат, как больной под ножом,
Но это сравнение ложь, потому что
Они голосят на стократно чужом
Наречии. Это тебе не Алушта.

Здесь пара волов не тащила арбы
С останками пасмурного Грибоеда.
Суворовско-суриковские орлы
На задницах здесь не справляли победы.

Я шел вверх по Ванчу. Дневная резня
Реки с ледником выдыхалась. Зарница
Цвела чайной розой. Ущелье меня
Встречало недобрым молчаньем зверинца.

Снега пламенели с зарей заодно.
Нагорного неба неграмотный гений
Сам знал себе цену. И было смешно
Сушить эдельвейс в словаре ударений.

Зазнайка-поэзия, спрячем тетрадь:
Есть области мира, живые помимо
Поэзии нашей, — и нам не понять,
Не перевести хриплой речи Памира.

1979



Опасен майский укус гюры.
Пустая фляга бренчит на ремне.
Тяжела слепая поступь грозы.
Электричество шелестит в тишине.
Неделю ждал я товарняка.
Всухомятку хлеба доел ломоть.
Пал бы духом наверняка,
Но попутчика мне послал Господь.
Лет пятнадцать круглое он катил.
Лет пятнадцать плоское он таскал.
С пьяных глаз на этот разъезд угодил —
Так вдвоем и ехали по пескам.

Хорошо так ехать. Да на беду
Ночью он ушел, прихватив мой френч,
В товарняк порожний сел на ходу,
Товарняк отправился на Ургенч.
Этой ночью снилось мне всего
Понемногу: золото в устье ручья,
Простое базарное волшебство —
Слабая дудочка и змея.
Лег я навзничь. Больше не мог уснуть.
Много все-таки жизни досталось мне.
“Темирбаев, платформы на пятый путь”, —
Прокатилось и замерло в тишине.

1979



Лунный налет — посмотри вокруг —
Серый, в сантиметр толщиной,
Валит зелень наземь. Азия вдруг
Этикеткой чайной, переводной
Картинкою всплывает со дна
Блюдца. Азия — это она
Бережно провела наждаком
Согласных по альвеолам моим.
Трудно говорить на таком
Языке-заике — и мы молчим.
Монету выну из кошелька,
На ладони подброшу и с высоты
Оброню в стремнину — играй века,
Родниковый двойник кустарной звезды.
Ах, примета грошовая, не криви
Душою. Навсегда из рук
Уходит снег Азии. Но в крови
Шум вертикальных рек. Вокруг
Посмотри — и довольно. Соловьи
И розы. Серая известь луны
Ложится на зелень. И тишины
Вороной иноходец зацокал прочь.
Здесь я падал в небо великой страны
Девяносто и одну ночь.

1979



Давным-давно забрели мы на праздник смерти,
Аквариум вещей скорби вовсю прижимая к себе.
Сказочно-страшно стоять в похоронном концерте,
Опрокинутою толпой отразиться в латунной трубе.
В марте шестидесятого за гаражами
Жора вдалбливал нам сексологию и божбу.
Аудитория млела. Внезапно над этажами
Встала на дыбы музыка. Что-то несли в гробу.
Эдаким князем Андреем близ Аустерлица
Поднял я голову в прямоугольное небо двора.
Черные птицы. Три облака. Серые лица.
Выли старухи. Кудахтали детвора.
Детство в марте. Союз воробья и вербы.
Бедное мужество музыки. Старческий гам.
Шапки долой. Очи долу. Лишь небо не знает ущерба.
Старый шарманщик, насилуй осипший орган!

1979



А вот и снег. Есть русские слова
С оскоминой младенческой глюкозы.
Снег валит, тяжелеет голова,
Хоть сырость разводи. Но эти слезы
Иных времен, где в занавеси дрожь,
Бьет соловей, заря плывет по лужам,
Будильник изнемог, и ты встаешь,
Зеленым взрывом тополя разбужен.
Я жил в одной стране. Там тишина
Равно проста в овраге, церкви, поле.
И мне явилась истина одна:
Трудна не боль — однообразие боли.
Я жил в деревне месяц с небольшим.
Прорехи стен латал клоками пакли.
Вслух говорил, слегка переборщил
С риторикой, как в правильном спектакле.

Двустволка опереточной длины,
Часы, кровать, единственная створка
Трюмо, в котором чуть искажены
Кровать с шарами, ходики, двустволка.
Законы жанра — поприще мое.
Меня и в жар бросало, и знобило,
Но драмы злополучное ружье
Висеть висит, но выстрелить забыло.
Мне ждать не внове. Есть здесь кто живой?
Побудь со мной. Поговори со мной.
Сегодня день светлее, чем вчерашний.
Белым-бела вельветовая пашня.

Покурим, незнакомый человек.
Сегодня утром из дому я вышел,
Увидел снег, опешил и услышал
Хорошие слова — а вот и снег.

1978



Далеко от соленых степей саранчи,
В глухомани, где водятся серые волки,
Вероятно, поныне стоят Баскачи —
Шесть разрозненных изб огородами к Волге.

Лето выдалось скверным на редкость. Дожди
Зарядили. Баркасы на привязи мокли.
Для чего эта малость видна посреди
Прочей памяти, словно сквозь стекла бинокля?

Десять лет погода я подался в бичи,
Карнавальную накипь оседлых сословий,
И трудился в соленых степях саранчи
У законного финиша волжских верховий.

Для чего мне на грубую память пришло
Пасторальное детство в голубенькой майке?
Сколько, Господи, разной воды утекло
С изначальной поры коммунальной Можайки!

Значит, мы умираем и делу конец.
Просто Волга впадает в Каспийское море.
Всевозможные люди стоят у реки.
Это Волга впадает в Каспийское море.

Все, что с нами случилось, случится опять.
Среди ночи глаза наудачу зажмурю —
Мне исполнится год и тебе двадцать пять.
Фейерверк сизарей растворится в лазури.

Я найду тебя в комнате, зыбкой от слез,
Где стоял КВН, недоносок прогресса,
Где глядела на нас из-под ливня волос
С репродукции старой святая Инесса.

Я застану тебя за каким-то шитьем.
Под косящим лучом засверкает иголка.
Помнишь, нам довелось прозябать вчетвером
В деревушке с названьем татарского толка?

КВНовой линзы волшебный кристалл
Синевою нальется. Покажется Волга.
“Ты и впрямь не устала? И я не устал.
Ну, пошли понемногу, отсюда недолго”.



Будет все. Охлажденная долгим трудом
Устаревает досада на бестолочь жизни,
Прожитой впопыхах и захлеб. Будет дом
Под сосновым холмом на Оке или Жиздре.
Будут клин журавлиный на юг острием,
Толчея снегопада в движении Броуна,
И окрестная прелесть в сознание моем
Накануне разлуки предстанет утроена.
Будет майская полночь. Осока и плес.
Ненароком задетая ветка остудит
Лоб жасмином. Забудется вкус черных слез.
Будет все. Одного *утешенья* не будет,
Оправданья. Наступит минута, когда
Возникает вопрос, что до времени дремлет:
Пробил час уходить насовсем, но куда?
Иностранная музыка волосы треплет.
А вошедшая в обыкновение ложь
Ремесла потягается разве что с астмой
Духотою. Тогда ты без стука войдешь
В пятистенки ночлега последнего:
“Здравствуй.

Узнаю тебя. Легкая воля твоя
Уводила меня, словно длань кукловода,
Из пределов сумятицы здешней в края
Тишины. Но сегодня пора на свободу.
Я любил тебя. Легкою волей твоей
На тетрадных листах, озаренных неярко,
Тарабарщина варварской жизни моей
Обрела простоту регулярного парка.

Под отрывистым ливнем лоснится скамья.
В мокрой зелени тополя тенькают птахи.
Что ж ты плачешь, веселая муза моя,
Длинноногая девочка в грубой рубахе!
Не сжимай мое сердце в горсти и прости
За оскомину долгую дружбы короткой.
Держит раковина океан взаперти,
Но пространству тесна черепная коробка!”



Это праздник. Розы в ванной.
Шумно, дымно, негде сесть.
Громогласный, долгожданный,
Драгоценный. Ровно шесть.
Вечер. Лето. Гости в сборе.
Золотая молодежь
Пьет и курит в коридоре —
Смех, приветствия, галдеж.

Только-только из-за школьной
Парты, вроде бы вчера,
Окунулся я в застольный
Гам с утра и до утра.
Пела долгая пластинка.
Балагурил балагур.
Сетунь, Тушино, Стромынка —
Хорошо, но чересчур.

Здесь, благодаренье Богу,
Я полжизни отрубил.
Женщина сидит немного
Справа. Я ее любил.
Дело прошлое. Прогнозам
Верил я в иные дни.
Птицам, бабочкам, стрекозам
Эта музыка сродни.

Если напрочь не опиться
Водкой, шумом, табаком,

Слушать музыку и птицу
Можно выйти на балкон.
Ночь моя! Вишневым светом
Телефонный автомат
Озарил сирень. Об этом
Липы старые шумят.

Табакком пропахли розы,
Их из Грузии везли.
Обещали в полдень грозы,
Грозы за полночь пришли.
Ливень бьет напропалую,
Дальше катится стремглав.
Вымостили мостовую
Зеркалами без оправ.

И светает. Воздух зябко
Тронул занавесь. Ушла
Эта женщина. Хозяйка
Убирает со стола.
Спит тихоня, спит проказник —
Спать! С утра очередной
Праздник. Все на свете праздник —
Красный, черный, голубой.

III



Картина мира, милая уму: писатель сочиняет про Муму; шоферы колятся по всей земле со Сталиным на лобовом стекле; любимец телевиденья чабан кастрирует козла во весь экран; агукая, играючи, шутя, мать пестует щекастое дитя. Сдается мне, согражданам не лень усердствовать. В трудах проходит день, а к полночи созреет в аккурат мажорный гимн, как некий виноград.

Бог в помощь всем. Но мой физкульт-привет писателю. Писатель (он поэт), несносных наблюдений виртуоз, сквозь окна видит бледный лес берез, вникая в смысл житейских передрыг, причуд, коллизий. Вроде бы пустяк по имени хандра, и во врачах нет надобности, но и в мелочах видна утечка жизни. Незначай он адрес свой забудет или чай на рукопись прольет, то вообще купает галстук бархатный в борще. Смех да и только. Выпал первый снег. На улице какой-то человек, срывая голос, битых два часа отчитывал нашкодившего пса.

Писатель принимается писать. Давно ль он умудрился променять объем на вакуум, проточный звук на паузу? Жизнь валится из рук безделкою, безделицею в щель, внезапно перейдя в разряд вещей еще душемутительных, уже музейных, как то: баночка драже с истекшим сроком годности, альбом колониальных марок в голубом налете пыли, шелковый шнурок... В романе Достоевского "Игрок" описан странный случай. Гувернер влюбился не на шутку, но позор безденежья преследует его. Добро бы лишь его, но суще-

ство небесное, предмет любви — и та наделала долгов. О, нищета! Спасая положение, наш герой сперва, как Германн, вчуже за игрой в рулетку наблюдал, но вот и он выигрывает сдуру миллион. Итак, женитьба? — Дудки! Грозный пыл объемлет бедолагу. Он забыл про барышню, ему предрешено в испарине толкаться в казино. Лишения, долги, потом тюрьма. “Ужели я тогда сошел с ума?” — себя и опечаленных друзей резонно вопрошает Алексей Иванович. А на кого пенять?

Давно ль мы умудрились променять простосердечье, женскую любовь на эти пять похабных рифм: све-кровь, кровь, бровь, морковь и вновь! И вновь поэт включает за полночь настольный свет, по комнате описывает круг. Тошнехонько и нужен верный друг. Таким была бы проза. Дай-то Бог. На весь поселок брешет кабысдох. Поэт глядит в холодное окно. Гармония, как это ни смешно, вот цель его, точнее, идеал. Что выиграл он, что он проиграл? Но это разве в картах и лото есть выигрыш и проигрыш. Ни то изящные материи, ни се. Скорее розыгрыш. И это все? Еще не все. Ценить свою беду, найти вверху любимую звезду, испарину труда стереть со лба и сообщить кому-то: “Не судьба”.



“Расцветали яблони и груши”, —
Звонко пела в кухне Линда Браун.
Я хлебал портвейн, развесив уши.
Это время было бравым.

Я тогда рассчитывал на счастье,
И поэтому всерьез
Я воспринимал свои несчастья —
Помню, было много слез.

Разные истории бывали.
Но теперь иная полоса
На полуподвальном карнавале:
Пауза, повисли паруса.

Больше мне не баловаться чачей,
Сдуру не шокировать народ.
Молодость, она не хер собачий,
Вспоминаешь — оторопь берет.

В тихий час заката под сиренью
На зеленой лавочке сижу.
Бормочу свои стихотворенья,
Воровскую стройку сторожу.

Под сиренью в тихий час заката
Бьют, срывая голос, соловьи.
Капает по капельке зарплата,
Денежки дурацкие мои.

Не жалею, не зову, не плачу,
Не кричу, не требую суда.
Потому что так и не иначе
Жизнь сложилась раз и навсегда.

1981



Дай Бог памяти вспомнить работы мои,
Дать отчет обстоятельный в очерке сжатом.
Перво-наперво следует лагерь МЭИ,
Я работал тогда пионерским вожатым.
Там стояли два Ленина: бодрый старик
И угрюмый бутуз серебристого цвета.
По утрам раздавался воинственный крик
“Будь готов”, отражаясь у стен сельсовета.
Было много других серебристых химер —
Знаменосцы, горнисты, скульптура лосихи.
У забора трудился живой пионер,
Утоляя вручную любовь к поварихе.

Жизнерадостный труд мой расцвел колесом
Обозрения с видом от Омска до Оша.
Хватишь лишку и Симонову в унисон
Знай бубнишь помаленьку: “Ты помнишь, Алеша?”
Гадом буду, в столичный театр загляну,
Где примерно полгода за скромную плату
Мы кадили актрисам, роняя слюну,
И катали на фурке тяжелого Плятта.
Верный лозунгу молодости “Будь готов!”,
Я готовился к зрелости неутомимо.
Вот и стал я в неполные тридцать годов
Очарованным странником с пачки “Памира”.

На реке Иртыше говорила резня.
На реке Сырдарье говорили о чуде.

Подвозили, кормили, поили меня
Окаянные ожесточенные люди.
Научился я древней науке вранья,
Разучился спросить о погоде без мата.
Мельтешит предо мной одиссея моя
Кинолентою шосткинского комбината.
Ничего, ничего, ничего не боюсь,
Разве только ленивых убийц в полумасках.
Отшучусь как-нибудь, как-нибудь отсижусь
С Божьей помощью в придурковатых подпасах.

В настоящее время я числюсь при СУ-
206 под началом Н. В. Соткилавы.
Раз в три дня караульную службу несу,
Шельмоватый кавказец содержит ораву
Очарованных странников. Форменный зо-
омузей посетителям на удивленье:
Величанский, Сопровский, Гандлевский, Шаззо —
Часовые строительного управления.
Разговоры опасные, дождь проливной,
Запрещенные книжки, окурки в жестянке.
Стало быть, продолжается диспут ночной
Чернокнижников Кракова и Саламанки.

Здесь бы мне и осесть, да шалят тормоза.
Ближе к лету уйду, и в минуту ухода
Жизнь моя улыбнется, закроет глаза
И откроет их медленно снова — свобода.
Как впервые, когда рассчитался в МЭИ,
Сдал казенное кладовщику дяде Васе,
Уложил в чемодан причиндалы свои,
Встал ни свет ни заря и пошел восвосяи.

Дети спали. Физорг починял силомер.
Повариха дремала в объятых завхоза.
До свидания, лагерь. Прощай, пионер,
Торопливо глотающий крупные слезы.



Рабочий, медик ли, прораб ли —
Одним недугом сражены —
Идут простые, словно грабли,
России хмурые сыны.
В ларьке чудовищная баба
Дает “Молдавского” прорабу.
Смирная свистопляску рук,
Он выпил, скорчился — и вдруг
Над табором советской власти
Легко взмывает и летит,
Печальным демоном глядит
И алчет африканской страсти.
Есть, правда, трезвенники, но
Они, как правило, говно.

Алкоголизм, хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Мы все от мала до велика
Лакали разное вино.
Оно прелестную свободу
Сулит великому народу.
И я, задумчивый поэт,
Прилежно целых девять лет
От одиночества и злости
Искал спасения в вине,
До той поры, когда ко мне
Наведываться стали в гости
Вампиры в рыбьей чешуе
И чертенята на свиные.

Прощай, хранительница дружбы
И саботажница любви!
Благодарю тебя за службу
Да и за пакости твои.
Я ль за тобой не волочился,
Сходился, ссорился, лечился
И вылечился наконец.
Веди другого под венец
(Молодоженам честь и место),
Форси в стеклянном пиджаке.
Последний раз к твоей руке
Прильну, стыдливая невеста,*
Всплакну и брошу на шарап.
Будь с ней поласковой, прораб.

1979

* Невеста в стеклянном пиджаке — спиртное (*сленг*). — *Прим. авт.*



Вот наша улица, допустим,
Орджоникидзержинского,
Родня советским захолустьям,
Но это все-таки Москва.
Вдали топорщатся массивы
Промышленности некрасивой —
Каркасы, трубы, корпуса
Настырно лезут в небеса.
Как видишь, нет примет особых:
Аптека, очередь, фонарь
Под глазом бабы. Всюду гарь.
Рабочие в пунцовых робах
Дорогу много лет подряд
Мостят, ломают, матерят.

Вот автор данного шедевра,
Вдыхая липы и бензин,
Четырнадцать порожних евро-
бутылок тащит в магазин.
Вот женщина немолодая,
Хорошая, почти святая,
Из детской лейки на цветы
Побрызгала и с высоты
Балкона смотрит на дорогу.
На кухне булькает обед,
В квартирах вспыхивает свет.
Ее обманывали много
Родня, любовники, мужья.
Сегодня очередь моя.

Мы здесь росли и превратились
В угрюмых дядь и глупых тетя.
Скучали, малость развратились —
Вот наша улица, Господь.
Здесь с окуджавовской пластинкой,
Староарбатскою грустинкой
Годами прячут шиш в карман,
Испепеляют, как древлян,
Свои дурацкие надежды.
С детьми играют в города —
Чита, Сучан, Караганда.
Ветшают лица и одежды.
Бездельничают рыбаки
У мертвой Яузы-реки.

Такая вот Йокнапатофа
Доигрывает в спортлото
Последний тур (а до потопа
Рукой подать), гадает, кто
Всему виною — Пушкин, что ли?
Мы сдали на пять в этой школе
Науку страха и стыда.
Жизнь кончится — и навсегда
Умолкнут брань и пересуды
Под небом старого двора.
Но знала чертова дыра
Родство сиротства — мы отсюда.
Так по родимому пятну
Детей искали в старину.



Чикиликанье галок в осеннем дворе
И трезвон перемены в тринадцатой школе.
Росчерк Ту-104 на чистой заре
И клеймо на скамье “Хабибулин + Оля”.
Если б я был не я, а другой человек,
Я бы там вечерами слонялся донине.
Все в разъезде. Ремонт. Ожидается снег. —
Вот такое кино мне смотреть на чужбине.
Здесь помойные кошки какую-то дрянь
С вожделием делят, такие-сякие.
Вот сейчас он, должно быть, закурит, и впрямь
Не спеша закурил, я курил бы другие.
Хороша наша жизнь — напоит допьяна,
Карамелью снабдит, удивит каруселью,
Шаловлива, глумлива, гневлива, шумна —
Отшумит, не оставив рубля на похмелье...

Если так, перед тем, как уйти под откос,
Пробеги-ка рукой по знакомым октавам,
Наиграй мне по памяти этот наркоз,
Спой дворовую песню с припевом картавым.
Спой, сыграй, расскажи о казенной Москве,
Где пускают метро в половине шестого,
Зачинают детей в госпитальной траве,
Троекратно целуют на Пасху Христову.
Если б я был не я, я бы там произнес
Интересную речь на арене заката.
Вот такое кино мне смотреть на износ
Много лет. Разве это плохая расплата?

Хабибулин выглядывает из окна
Поделиться избыточным опытом, крикнуть —
Спору нет, память мучает, но и она
Умирает — и к этому можно привыкнуть.



Молодость ходит со смертью в обнимку,
Ловит ушанкой небесную дымку,
Мышцу сердечную рвет впопыхах.
Взрослая жизнь кое-как научилась
Нервы беречь, говорить наловчилась
Прямолинейною прозой в стихах.

Осенью восьмидесятого года
В окна купейные сквозь непогоду
Мы обернулись на Курский вокзал.
Это мы ехали к Черному морю.
Хам проводник громыхал в коридоре,
Матом ругался, курить запрещал.

Белгород ночью, а поутру Харьков.
Просишь для сердца беды, а накаркав,
Локти кусаешь, огромной страной
Странствуешь, в четверть дыхания дышишь,
Спишь, цепенеешь, спросонок расслышишь —
Ухает в дамбу метровой волной.

Фото на память. Курортные позы.
В окнах веранды красуются розы.
Слева за дверью белеет кровать.
Снег очертил разноцветные горы.
Фрукты колотятся оземь, и впопору
Плакать и честное слово давать.

В четырехзначном году, умирая
В городе N, барахло разбирая,
Выроню случаем и на ходу
Гляну — о, Господи, в Новом Афоне
Оля, Лаура, Кенжеев на фоне
Зелени в восьмидесятом году.



Ливень лил в Батуми. Лужи были выше
Щиколоток. Стоя под карнизом крыши,
Дух переводили, а до крыши самой
Особняк пиликал оркестровой ямой.
Гаммы, полонезы, польки, баркаролы.
Маленькие классы музыкальной школы.
Черни, Гречанинов, Гедике и Глинка.
Маленькая школа сразу возле рынка.
Скрипка-невеличка, а рояль огромный,
Но еще огромней тот орган загробный.
Глупо огорчаться, это лишь такая
Выдумка, забава, музыка простая.
Звуки пропадали в пресноводном шуме,
Гомоне и плеске. Ливень лил в Батуми.
Выбежали стайкой, по соседству встали
Дети-вундеркинды, лопотали, ждали
Малого просвета. Вскоре посветлело,
И тогда Арчилы, Гиви и Натэлы
Дунули по лужам, улицам, бульварам.
В городе Батуми ровень с тротуаром
Колебалось море, и качался важный
“Адмирал Нахимов” с дом пятиэтажный.
Полно убиваться, есть такое мненье,
Будто эти страсти, грусти, треволенья —
Выдумка, причуда, простенькая полька
Для начальной школы, музыка — и только.



Светало поздно. Одеяло
Сползало на пол. Сизый свет
Сквозь жалюзи мало-помалу
Скользил с предмета на предмет.
По мере шаткого скольженья,
Раздваивая светотень,
Луч бил наискосок в “Оленью
Охоту”. Трепетный олень
Летел стремглав. Охотник пылкий
Облокотился на приклад.
Свет трогал тусклые бутылки
И лиловатый виноград
Вчерашней трапезы, колоду
Игральных карт и кожуру
Граната, в зеркале комода
Чертил зигзаги. По двору
Плыл пьяный запах — гнали чачу.
Индюк барахтался в пыли.
Пошли слоняться наудачу,
Куда глаза глядят пошли.
Вскарабкайся на холм соседний,
Увидишь с этой высоты,
Что ночью первый снег осенний
Одел далекие хребты.
На пасмурном булыжном пляже
Откроешь пачку сигарет.
Есть в этом мусорном пейзаже
Какой-то тягостный секрет.
Газета, сломанные грабли,

Заржавленные якоря.
Позеленели и озябли
Косые волны октября.
Наверняка по краю шири
Вдоль горизонта серых вод
Пройдет без четверти четыре
Экскурсионный теплоход
“Сухум — Батум” с заходом в Поти.
Он служит много лет подряд,
И чайки в бреющем полете
Над ним горланят и парят.

Я плывал этим теплоходом.
Он переполнен, даже трюм
Битком набит курортным сбродом —
Попойка, сутолока, шум.
Там нарасхват плохое пиво,
Диск “Бони М”, духи “Кармен”.
На верхней палубе лениво
Господствует нацмен-бармен.
Он “Чито гврито” напевает,
Глаза блудливые косит,
Он наливает, как играет,
Над головой его висит
Генералиссимус, а рядом
В овальной рамке из фольги,
Синея вышколенным взглядом,
С немецкой розовой ноги
Красавица капрон спускает.
Пьют и пьют на все лады,
А за винтом, шипя, сверкает
Живая изморозь воды.
Сойди с двенадцати ступенек

За багажом в похмельный трюм.
Печали много, мало денег —
В иллюминаторе Батум.
На пристани, дыша сивухой,
Поможет в поисках жилья
Железзубая старуха —
Такою будет смерть моя...

Давай вставай, пошли без цели
Сквозь ежевику пустыря.
Озябли и позеленели
Косые волны октября.
Включали свет, темнело рано.
Мой незадачливый стрелок
Дремал над спинкою дивана,
Олень летел, не чуя ног.
Вот так и жить. Тянуть боржоми.
Махнуть рукой на календарь.
Все в участии приемлю, кроме...
Но это, как писали встарь,
Предмет особого рассказа,
Мне снится тихое село
Неподалеку от Кавказа.
Доселе в памяти светло.



Зверинец коммунальный вымер.
Но в семь утра на кухню в бигуди
Выходит тетя Женя и Владимир
Иванович с русалкой на груди.
Почесывая рыжие подмышки,
Вития замороченной жене
Отцеживает свысока излишки
Премудрости газетной. В стороне
Спросонья чистит мелкую картошку
Океанолог Эрик Ажажа —
Он только из Борнео.

Понемножку
Многоголосый гомон этажа
Восходит к поднебесью, чтобы через
Лет двадцать разродиться наконец,
Заполонить мне музыкаю череп
И сердце озадачить.

Мой отец,
Железом завалив полкоридора,
Мне чинит двухколесный в том углу,
Где тримушки рассеянного Тёра
Шуршали всю ангину. На полу —
Ключи, колеса, гайки. Это было,
Поэтому мне мило даже мыло
С налипшим волосом...

У нас всего
В избытке: фальши, сплетен, древесины,
Разлуки, канцтоваров. Много хуже
Со счастьем, вроде проще апельсина,

Ан нет его. Есть мнение, что его
Нет вообще — ах, вот оно в чем дело!..

Давай живи, смотри не умирай.
Распахнут настезь том прекрасной прозы,
Вовеки не написанной тобой.
Толпою придорожные березы
Бегут и опрокинутой толпой
Стремглав уходят в зеркало вагона.
С утра в ушах стоит галдеж ворон.
С локомотивом мокрая ворона
Тягается, и головной вагон
Теряется в неведомых пределах.
Дожить до оглавления, до белых
Мух осени.

В начале букваря

Отец бежит вдоль изгороди сада
Вслед за велосипедом, чтобы чадо
Не сверзилось на гравий пустыря.

Сдается мне, я старюсь. Попугаев
И без меня хватает. Стыдно мне
Мусолить малолетство, пусть Катаев,
Засахаренный в старческой слюне,
Сюсюкает. Дались мне эти черти
С ободранных обоев или слизи
На дачном частоколе, но гудит
Там, за спиной, такая пропасть смерти,
Которая посередине жизни
Уже в глаза внимательно глядит.



В начале декабря, когда природе снится
Осенний ледоход, кунсткамера зимы,
Мне в голову пришло немного полечиться
В больнице № 3, что около тюрьмы.
Больные всех сортов — нас было девяносто, —
Канканом вещих снов изрядно смущены,
Бродили парами в пижамах не по росту
Овальным двориком Матросской Тишины.

И день-деньской этаж толкался, точно рынок.
Подъем, прогулка, сон, мытье полов, отбой.
Я помню тихий холл, аквариум без рыбок —
Сор памяти моей не вымести метлой.
Больничный ветеран учил меня, невежду,
Железкой отворять запоры изнутри.
С тех пор я уходил в бега, добыв одежду,
Но возвращался спать в больницу № 3.

Вот повод для стихов с туманной подоплекой.
О жизни взаперти, шлифующей ключи
От собственной тюрьмы. О жизни, одинокой
Вне собственной тюрьмы... Учитель, не учи.
Бог с этой мудростью, мой призрачный читатель!
Скорбь тайную мою вовеки не сведу
За здорово живешь под общий знаменатель
Игривый общих мест. Я прыгал на ходу

В трамвай. Шел мокрый снег. Сограждане качали
Трамвайные права. Вверху на все лады

Невидимый тапер на дедовском рояле
Озвучивал кино надежды и нужды.
Так что же: звукоряд, который еле слышу,
Традиционный бред поэтов и калек
Или аттракцион — бегут ручные мыши
В игрушечный вагон — и валит серый снег?

Печальный был декабрь. Куда я ни стучался
С предчувствием моим, мне верили с трудом.
Да будет ли конец — роптала кровь. Кончался
Мой бедный карнавал. Пора и в желтый дом.
Когда я засыпал, больничная палата
Впускала снегопад, оцепенелый лес,
Вокзал в провинции, окружность циферблата —
Смеркается. Мне ждать, а времени в обрез.



Еще далёко мне до патриарха,
Еще не время, заявляясь в гости,
Пугать подростков выморочным басом:
“Давно ль я на руках тебя носил?!”
Но в целом траектория движенья,
Берущего начало у дверей
Роддома имени Грауэрмана,
Сквозь анфиладу прочих помещений,
Которые впотьмах я проходил,
Нашаривая тайный выключатель,
Чтоб светом озарить свое хозяйство,
Становится ясна.

Вот мое детство
Размахивает музыкальной папкой,
В пинг-понг играет отрочество, юность
Витийствует, а молодость моя,
Любимая, как детство, потеряла
Счет легким километрам дивных странствий.
Вот годы, прожитые в четырех
Стенах московского алкоголизма.
Сидели, пили, пели хоровую —
Река, разлука, мать сыра земля.
Но ты зеваешь: “Мол, у этой песни
Припев какой-то скучный...” — Почему?
Совсем не скучный, он традиционный.

Вдоль вереницы зданий станционных
С дурашливым щенком на поводке

Под зонтиком, в пальто демисезонных
Мы вышли наконец к Москва-реке.
Вот здесь и проживем. Совсем пустая
Профессорская дача в шесть окон.
Крапивница, капризно приседаю,
Пропархивает наискось балкон.
А завтра из ведра возле колодца
Уже оцепенелая вода
Обрушится к ногам и обернется
Цилиндром изумительного льда.
А послезавтра изгородь, дрова,
Террасу заштрихует дождик частый.
Под старым рукомойником трава
Заляпана зубною пастой.
Нет-нет да и проглянет синева,
И песня не кончается.

В припеве

Мы движемся к суровой переправе.
Смеркается. Сквозит, как на плацу.
Взмывают чайки с оголенной суши.
Живая речь уходит в хрипотцу
Грамзаписи. Щенок развесил уши —
His master's voice.

Беда не велика.

Поговорим, покурим, выпьем чаю.
Пора ложиться. Мне наверняка
Опять приснится хмурая, большая,
Наверное, великая река.

IV



Самосуд неожиданной зрелости,
Это зрелище средней руки
Лишено общепризнанной прелести —
Выйти на берег тихой реки,
Рефлектируя в рифму. Молчание
Речь мою караулит давно.
Бархударов, Крючков и компания,
Разве это нам свыше дано!

Есть обычай у русской поэзии
С отвращением бить зеркала
Или прятать кухонное лезвие
В ящик письменного стола.
Дядя в шляпе, испачканной голубем,
Отразился в трофейном трюмо.
Не мори меня творческим голодом,
Так оно получилось само.

Было вроде кораблика, ялика,
Воробья на пустом гамаке.
Это облако? Нет, это яблоко.
Это азбука в женской руке.
Это азбучной нежности навыки,
Скрип уключин по дачным прудам.
Лижет ссадину, просится на руки —
Я тебя никому не отдам!

Стало барщиной, ревностью, мукою,
Расплескался по капле мотив.

Всухомятку мычу и мяукаю,
Пятернями башку обхватив.
Для чего мне досталась в наследие
Чья-то маска с двусмысленным ртом,
Одноактовой жизни трагедия,
Диалог резонера с шутом?

Для чего, моя музыка зыбкая,
Объясни мне, когда я умру,
Ты сидела с недоброй улыбкою
На одном бесконечном пиру
И морочила сонного отрока,
Скатерть праздничную беребя?
Это яблоко? Нет, это облако.
И пощады не жду от тебя.



А. Сопровскому

*... То весь готов сойти на нет
В революционной воле.*

Б. ПАСТЕРНАК

Когда, раздвинув острием поленья,
Наружу выйдет лезвие огня,
И наваждение стихосложения
Издали накатит на меня;
Когда двуглавым пламенным сугробом
Эльбрус (а я там был) уходит ввысь,
И ты впустую борешься с ознобом
И сам себе советуешь — очнись;
Когда мое призванье вне закона,
А в зеркале — вина и седина,
Но под рукой, как и во время оно,
Романы Стивенсона и Дюма;
Когда по радио в урочную минуту
Сквозь пение лимитчиц, лягз и гам
Передают, что выпало кому-то
Семь лет и пять в придачу по рогам, —
Я вспоминаю лепет Пастернака.
Куда ты завела нас, болтовня?
И чертыхаюсь, и пугаюсь мрака,
И говорю упрямо: “Чур меня!”
“Ты царь”, — цитирую. Вольно поэту
Над вымыслом возлюбленным корпеть,
Благоговеть, бродя по белу свету,
Владимира Буковского воспеть.

1984



Есть в растительной жизни поэта
Злополучный период, когда
Он дичится небесного света
И боится людского суда.
И со дна городского колодца,
Сизарям рассыпая пшено,
Он ужасною клятвой клянется
Расквитаться при случае, но,

Слава Богу, на дачной веранде,
Где жасмин до руки достает,
У припадочной скрипки Вивальди
Мы учились полету — и вот
Пустота высоту набирает,
И душа с высоты пустоты
Наземь падает и обмирает,
Но касаются локтя цветы...

Ничего-то мы толком не знаем,
Труса празднуем, горькую пьем,
От волнения спички ломаем
И посуду по слабости бьем,
Обязуемся резать без лести
Правду-матку как есть напрямик.
Но стихи не орудие мести,
А серебряной чести родник.

1983



Стоит одиноко на севере диком
Писатель с обросшею шеей и тиком
Щеки, собирается выть.
Один-одинешенек он на дорогу
Выходит, внимают окраины Богу,
Беседуют звезды; кавычки закрыть.

1994

ЭЛЕГИЯ

Мне холодно. Прозрачная весна...

О. МАНДЕЛЬШТАМ

Апреля цирковая музыка —
Трамваи, саксофон, вороны —
Накроет кладбище Миусское
Запанибрата с похоронной.
Был или нет я здесь по случаю,
Рифмуя на живую нитку?
И вот доселе сердце мучаю,
Все пригodiлось недобитку.
И разом вспомнишь, как там дышится,
Какая слышится там гамма.
И синий с предисловьем Дымшица
Выходит томик Мандельштама.
Как раз и молодость кончается,
Гербарный василек в тетради.
Кто в США, кто в Коми мается,
Как некогда сказал Саади.
А ты живешь свою подробную,
Теряешь совесть, ждешь трамвая
И речи слушаешь надгробные,
Шарф подбородком уминая.
Когда задаром — тем и дорого —
С экзальгированным протестом
Трубит саксофонист из города
Неаполя. Видать, проездом.

1985



Б. К.

Мое почтение. Есть в пасмурной отчизне
Таможенный обряд, и он тебе знаком:
Как будто гасят свет — и человек при жизни
Уходит в темноту лицом и пиджаком.

Кенжеев, не хандри. Тебя-то неуместно
Учить тому-сему или стращать Кремлем.
Терпи. В Америке, насколько мне известно,
Свобода, и овцу рифмуют с кораблем.

Я сам не весельчак. Намедни нанял дачу,
Уже двухкомнатную, в складчину с попом.
Артачусь с пьяных глаз, с похмелья горько плачу,
Откладывая жить на вечное потом.

Чего б вам пожелать реального? Во-первых,
Здоровья. Вылезай из насморков своих,
Питайся трижды в день, не забывай о нервах
Красавицы-жены, пей в меру. Во-вторых,

Расти детеныша, не бей ремнем до срока,
Сноси безропотно пеленки, нищету,
Пренебрежение. Купи брошюру Спока,
Читай ее себе, Лауре и коту.

За окнами октябрь. Вокруг приметы быта:
Будильник, шифоньер, в кастрюле пять яиц.
На письменном столе лежит “Бхагавад-гита” —
За месяц я прочел четырнадцать страниц.

Там есть один мотив: сердечная тревога
Бойся творчества и ладит с суетой.
Для счастья нужен мир. Казалось бы, немного.
Но, если мира нет, то счастье — звук пустой.

Поэтому твори. Немало причинила
Жизнь всякого, да мы и сами хороши.
Но были же любовь и бледные чернила
Карельской заводи... Пожалуйста, пиши

С оказией и без. Целуй семейство пылко.
Быть может, в будущем — далёко-далеко
Сойдемся запросто, откупорим бутылку —
Два старых болтуна, но дышится легко.



Растроганно прислушиваться к лаю,
Чириканию и кваканью, когда
В саду горит прекрасная звезда,
Названия которой я не знаю.
Смотреть, стирая робу, как вода
Наматывает водоросль на сваю,
По отмели рассеивает стаю
Мальков и раздувает невода.
Грядущей жизнью, прошлой, настоящей,
Неярко озарен любой пустяк —
Порхающий, желтеющий, журчащий, —
Любую ерунду берешь на веру.
Не надрывай мне сердце, я и так
С годами стал чувствителен не в меру.

1986



Ай да сирень в этом мае! Выпуклокрупные гроздья
Валят плетни в деревнях, а на Бульварном кольце
Тронут лицо в темноте — душемутительный запах.
Сердце рукою сдави, восвояси иди, как слепой.
Здесь на бульварах впервой повстречался мне

голый дошкольник,

Лучник с лукавым лицом; изрядно стреляет малец!
Много воды утекло. Старая только заноза
В мякоти чудом цела. Думаю, это пройдет.
Поутру здесь я сидел нога на ногу гордо у входа
В мрачную пропасть метро с ветвью сирени в руках.
Кольца пускал из ноздрей, пил в час пик газировку,
Улыбнулся и рек согражданам в сердце своем:
“Дурни, куда вы толпой? Олухи, мне девятнадцать.
Сроду нигде не служил, не собираюсь и впредь.
Знаете тайну мою? Моей вы не знаете тайны:
Ночь я провел у Лаисы. Виктор Зоилыч рогат”.

1984



Весной, проездом, в городе чужом,
В урочный час — расхожая морока.
Как водоросль громадная, во мгле
Шевелится пирамидальный тополь.
Мое почтение, приятель, мне
Сдается, издавна один и тот же
Высокий призрак в молодой листве
В часы свиданий бодрствовал поодаль.
И ночь везде была одна и та же:
Окраина, коробки новостроек,
Цикада, крупный изумруд такси,
Окно в хитросплетеньях винограда,
Свет пыльной голой лампочки над дверью.

Однако перемены налицо,
То бишь приметы опыта. Недаром
Кислоты, соли, щелочь в H_2O
Были добавлены.

Наклей на колбу
Ярлык с адамовою головой
И с глаз долой. Но тополь принимает
Всерьез командировочные страсти.

Кого мы ждем? С какого этажа
Страннопримной памяти в круг света
Сейчас сойдет сестра апрельской ночи?
Красавица ли за сорок с лицом
Таким, что совесть оторопевает,
Дитя ли вздорное — в карманах руки,

Разбойничья улыбка на губах —
Кто б ни была ты, ангел мой, врасплох
Застигнут будет старый лицедей —
Напрасен шепот тополя-суфлера!

Ну дай же верности невесть чему
Торжественную клятву, трудно, что ли?
Патетики не бойся, помяни
Честь, поднебесье, гробовую доску.
А нет — закрой глаза, чтобы в ночном
Пустом дворе воскресло невредимым
Все то, что было деревом, окном,
Огнем, а стало дымом, дымом, дымом...



Мне тридцать, а тебе семнадцать лет.
Наверное, такой была Лаура,
Которой (сразу видно — не поэт)
Нотации читал поклонник хмурый.

Свиданий через ночь в помине нет.
Но чудом помню аббревиатуру
На вывеске, люминесцентный свет,
Шлагбаум, доски, арматуру.

Был месяц май, и ливень бил по жести
Карнизов и железу гаражей.
Нет, жизнь прекрасна, что ни говорите.

Ты замолчала на любимом месте,
На том, где сторожа кричат в Мадриде,
Я сам из поколения сторожей.

1986

ДВА РОМАНСА

I

Самолеты летят в Симферополь,
И в Батуми, и в Адлер, и весь
Месяц май пахнет горечью тополь,
Вызывая сердечную резь.

Кто-то замки воздушные строит,
А в Сокольниках бьют соловьи.
В эту пору, как правило, ноет
Несмертельная рана любви.

Зря я гладил себя против шерсти —
Шум идет по ветвям молодым,
Это ветер моих путешествий,
Треволнений моих побратим.

Собирайся на скорую руку,
Мужу тень наведи на плетень,
Наплети про больную подругу,
Кружева на головку надень.

Хочешь, купим билеты до моря?
Хочешь, брошу, мерзавец, семью
И веревочкой старое горе,
Мое лучшее горе завью?

1987

II

В Переделкине есть перекресток.
На закате июльского дня
Незадолго до вечной разлуки
Ты в Москву провожала меня.

Проводила и в спину глядела,
Я и сам обернулся не раз.
А когда я свернул к ресторану,
Ты, по счастью, исчезла из глаз.

Приезжай наконец, электричка!
И уеду — была не была —
В Сан-Франциско, Марсель, Йокогаму,
Чтобы жалость с ума не свела.



И с мертвыми поэтами вести
Из года в год ученую беседу;
И в темноте по комнате бродить
В исподнем, и клевать над книгой носом,
И вспоминать со скверною улыбкой
Сквозь дрему Лидию, Наталью, Анну;
Глотать пилюли. У знакомых есть
Неряшливо и жадно, дома — скупю;
У зеркала себя не узнавать
В облезлой обезьяне с мокрым ртом,
Как из “Ромэна” правильный цыган
Сородичем вокзальным озадачен.
И опускаться, словно опускаться
На дно зеленое, раскинув руки...

Подумать только, осень. Облтай
Сад тления, роскошный лепрозорий!
Структура мира, суть вещей, каркас
Наглядны, говорят, об эту пору.
Природа, как натурщица, стоит,
Уйдя по щиколотки в сброшенное платье,
Как гипсовая девушка с веслом
У входа в лесопарк, а лесопарк
Походит на рисунок карандашный.
Вокруг пивной отпетая толпа
Грешит бессмертием — так близко небо.

Поверх щербатой кружки бросить взгляд
На пьяниц, озерцо, аттракционы,

Соседний столб фонарный, на котором
Записка слабо бьется взад-вперед,
Вверх-вниз, как тронутое тиком веко:
“Пропал ирландский сеттер. Обещаем
Нашедшему вознагражденье”. Адрес.
Довольно. Прикрывая рукавом
Лицо, уйти в аллею боковую.
Жизнь вроде бы вполне разорена.
Вот так, наверное, и умирают.

Умри. Быть может, злую жизнь твою
Еще окликнет добрый человек
С какой-нибудь дурацкою привычкой:
Грызть ногти или скатерть теревить,
Самолюбивый, искренний, способный
Отчаянный поступок совершить
И тотчас обернуться, покраснев:
Не вызвал ли он смеха диким шагом?
Никто не засмеется.



Устроиться на автобазу
И петь про черный пистолет.
К старухе матери ни разу
Не заглянуть за десять лет.
Проездом из Газлей на юге
С канистры кислого вина
Одной подруге из Калуги
Заделать сдуру пацана.
В рыгаловке рагу по средам,
Горох с треской по четвергам.
Божиться другу за обедом
Впяять завгару по рогам.
Преодолеть попутный гребень
Тридцатилетия. Чем свет,
Возить “налево” лес и щебень
И петь про черный пистолет.
А не обломится халтура —
Уснуть щекою на руле,
Спросонья вспоминая хмуро
Махаловку в Махачкале.

1985



Д. Пригову

Отечество, предание, геройство...
Бывало раньше, мчится скорый поезд —
Пути разобраны по недосмотру.
Похоже, катастрофа неизбежна,
А там ведь люди. Входит пионер,
Ступает на участок аварийный,
Снимает красный галстук с тонкой шеи
И яркой тканью машет. Машинист
Выглядывает из локомотива
И понимает: что-то здесь не так.
Умело рычаги перебирает —
И катастрофа предупреждена.

Или другой пример. Несется скорый.
Пути разобраны по недосмотру.
Похоже, катастрофа неизбежна.
А там ведь люди. Стрелочник-старик
Выходит на участок аварийный,
Складным ножом себе вскрывает вены,
Горячей кровью тряпку обагрят
И яркой тканью машет. Машинист
Выглядывает из локомотива
И понимает: что-то здесь не так.
Умело рычаги перебирает —
И катастрофа предупреждена.

А в наше время, если едет поезд,
Исправный путь лежит до горизонта.

Условия на диво: знай учишь
Или работай, или совмещай
Работу с обучением заочным.
Все изменилось. Вырос пионер.
Слегка обрюзг, вполне остепенился,
Начальником стал железнодорожным,
На стрелочника старого орет,
Грозится в ЛТП его упрятать.



А. М.

Что-нибудь о тюрьме и разлуке,
Со слезою и пеной у рта.
Кострома ли, Великие Луки —
Но в застолье в чести Воркута.
Это песни о том, как по справке
Сын седым воротился домой.
Пил у Нинки и плакал у Клавки —
Ах ты, Господи Боже ты мой!

Наша станция как на ладони.
Шепелявит свое водосток.
О разлуке поют на перроне.
Хулиганов везут на восток.
День-деньской колесят по отчизне
Люди, хлеб, стратегический груз.
Что-нибудь о загубленной жизни —
У меня невзыскательный вкус.

Выйди осенью в чистое поле,
Ветром родины лоб остуди.
Жаркой розой глоток алкоголя
Разворачивается в груди.
Кружит ночь из семейства вороньих.
Расстояния свищут в кулак.
Для отечества нет посторонних,
Нет, и все тут, — и дышится так,

Будто пасмурным утром проснулся,
Загремели, баланду внесли, —

От дурацких надежд отмахнулся,
И в исподнем ведут, а вдали —
Пруд, покрытый гусиною кожей,
Семафор через силу горит,
Сеет дождь, и небритый прохожий
Сам с собой на ходу говорит.



П. М.

Поездка: автобус, безбожно кренясь,
Пылит большаком, не езда, а мученье.
Откуда? куда он? на Верхнюю Грязь?
Из Лога? в Кресты? — не имеет значенья.
Попутчики: дядя с двуручной пилой,
Две тетки, подросток с улыбкой острожной,
Изрядно поддавши мужик пожилой
И в меру поддавши рабочий дорожный.
Кто спит, кто с похмелья, кто навеселе.
В проеме окна поднебесное поле.
Здесь все — вплоть до Гундаревой на стекле —
Смесь яви и сна и знакомо до боли.
Встречь ветру проходящая тащит ведро
Брусники и всякую всячину в торбе.
Есть сходство с известной картиной Коро,
Но больше знакомых деталей и скорби.
Все это, родное само по себе,
Тем втрое родней, что озвучено соло
На третьей, обещанной грозной трубе,
Той самой. И снова деревни и села.
И надо б, как сказано, в горы бежать,
Коль скоро вода от полыни прогоркла.
Но наша округа — бескрайняя гладь,
На сутки пути ни холма, ни пригорка.

1987



Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять.
Отираясь от нечего делать в вокзальном народе,
Жду своей электрички, поскольку намерен сажать
То ли яблоню, то ли крыжовник. Сентябрь на исходе.
Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране
Приспособить какую-то важную доску к сараю.
Перспектива из снов — сон во сне, сон во сне,
сон во сне.

И курю в огороде на корточках, время теряю.
И по скверной дороге иду восвоюсь с шести
Узаконенных соток на жалобный крик электрички.
Вот ведь спички забыл, а вернешься — не будет пути,
И стучусь наобум, чтобы вынесли — как его — спички.
И чужая старуха выходит на низкий порог,
И моргает, и шамкает, будто она виновата,
Что в округе ненастье и нету проезжих дорог,
А в субботу в Покровском у клуба сцепились ребята,
В том, что я ошиваюсь на свете дурак дураком
На осеннем ветру с незажженной своей сигаретой,
Будто только она виновата и в том, и в другом,
И во всем остальном, и в несчастиях родины этой.

1987



Косых Семен. В запое с Первомаея.
Сегодня вторник. Он глядит в окно,
Дрожит и щурится, не понимая,
Еще темно или уже темно.

Я знаю умонастроенье это
И сам, кружа по комнате тоски,
Цитирую кого-то: “Больше света”,
Со злостью наступая на шнурки.

Когда я первые стихотворенья,
Волнуясь, сочинял свои
И от волнения и неуменья
Все строчки начинал с союза “и”,
Мне не хватило кликов лебединых,
Ребячливости, пороха, огня,
И тетя Муза в крашенных седицах
Сверкнула фиксой, глядя на меня.

И ахнул я: бывают же ошибки!
Влюблен бездельник, но в кого влюблен!
Концерт для струнных, чембало и скрипки,
Увы, не воспоследует, Семен.

И встречный ангел, шедший пустырями,
Отверз мне, варвару, уста,
И — высказался я.

Но тем упрямей
Склоняют своенравные лета

К поруганной игре воображенья,
К завещанной насмешке над толпой,
К поэзии, прости за выраженье,
Прочь от суровой прозы.

Но тупой

От опыта паду до анекдота.
Ну скажем так: окончена работа.
Супруг супруге накопил обнов,
Врывается в квартиру, смотрит в оба,
Распахивает дверцы гардероба,
А там — Никулин, Вицин, Моргунов.



Еврейским блюдом угощала.
За антикварный стол сажала.
На “вы” из принципа звала.
Стелила спать на раскладушке.
А после все-таки дала,
Как сказано в одной частушке.
В виду имея истеричек,
Я, как Онегин, мог сложить
Петра Великого из спичек
И благосклонность заслужить.

Чу! Гадкий лебедь встрепенулся.
Я первой водкой поперхнулся,
Впервые в рифму заикнулся,
Или поплыть?

Айда. Мы, что ли, не матросы?!
Вот палуба и папиросы,
Да и попутный поднялся.
Вот Лорелея и Россия,
Вот Лета. Есть еще вопросы?
Но обознатушки какие,
Чур перепрятушки нельзя.

1994



Скрипит? А ты лоскут газеты
Сложи в старательный квадрат
И приспособь, чтоб дверца эта
Не отворялась невпопад.

Порхает в каменном колодце
Невзрачный городской снежок.
Все вроде бы, но остается
Последний небольшой должок.

Еще осталось человеку
Припомнить все, чего он не,
Дорогой, например, в аптеку
В пульсирующей тишине.

И, стоя под аптечной коброй,
Взглянуть на ликование зла
Без зла, не потому что добрый,
А потому что жизнь прошла.

1993



Памяти родителей

Сначала мать, отец потом
Вернулись в пятьдесят девятый
И заново вселились в дом,
В котором жили мы когда-то.
Все встало на свои места.
Как папиросный дым в трельяже,
Растаяли неправота,
Разлад, и правота, и даже
Такая молодость моя —
Мы будущего вновь не знаем.
Отныне, мертвая семья,
Твой быт и впрямь неприкасаем.

Они совпали наконец
С моею детскою любовью,
Сначала мать, потом отец,
Они подходят к изголовью
Проститься на ночь и спешат
Из детской в смежную, откуда
Шум голосов, застольный чад,
Звон рюмок, и, конечно, Мюда
О чем-то спорит горячо.
И я еще не вышел ростом,
Чтобы под Мюдин гроб плечо
Подставить наспех в девяностом.

Лги, память, безмятежно лги:
Нет очевидцев, я — последний.

Убавь звучание пурги,
Чтоб вольнодумец малолетний
Мог (любопытный юнец!)
С восторгом слышать через стену,
Как хвалит мыслящий отец
Многопартийную систему.



Неудачник. Поляк и истерик,
Он проводит бессонную ночь,
Долго бредется, пялится в телик
И насилует школьницу-дочь.
В ванной зеркало и отражение:
Бледный, длинный, трясущийся, взяв
Дамский бабкин на вооруженье,
Собирается делать пиф-паф.
И — осечка случается в ванной.
А какое-то время спустя,
На артистку в Москву эта Анна
Приезжает учиться, дитя.
Сердцеед желторотый, сжимаю
В кулаке огнестрельный сюрприз.
Это символ? Я так понимаю?
Пять? Зарядов? Вы льстите мне, мисс!
А потом появляется Валя,
Через месяц, как Оля ушла.
А с течением времени Галя,
Обронив десять шпилек, пришла.
Расплевался с единственной Людой
И в кромешный шагнул коридор,
Гроыхая пустою посудой.
И ушел, и иду до сих пор.
Много нервов и лунного света,
Вздора юного. Тошно мне, бес.
Любо-дорого в зрелые лета
Злиться, пить, не любить поэтесс.
Подбивает иной Мефистофель,

Озираясь на жизненный путь,
С табурета наглядный картофель
По-чапаевски властно смахнуть.
Где? Когда? Из каких подворотен?
На каком перекрестке любви
Сильным ветром задул страх Господен?
Вон она, твоя шляпа, лови!
У кого это самое больше,
Как бишь там, опереточный пан?
Ангел, Аня, исчадие Польши,
Веселит меня твой талисман.
Я родился в год смерти Лолиты,
И написано мне на роду
Раз в году воскрешать деловито
Наши шалости в адском саду.
“Тусклый огонь”, шерстяные рейтузы,
Вечный страх, что без стука войдут...
Так и есть — заявляется Муза,
Эта старая блядь тут как тут.



жене

Все громко тикает. Под спичечные марши
В одежде лечь поверх постельного белья.
Ну-ну, без глупостей. Но чувство страха старше
И долговечнее тебя, душа моя.
На стуле в пепельнице теплится окуроч,
И в зимнем сумраке мерцают два ключа.
Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок?
Жердь, круговерть и твердь — мученье рифмача...
Нагая женщина тогда встает с постели
И через голову просторный балахон
Наденет медленно, и обойдет без цели
Жилище праздное, где память о плохом
Или совсем плохом. Перед большой разлукой
Обычай требует ненадолго присесть,
Присядет и она, не проронив ни звука.
Отцы, учителя, вот это — ад и есть!
В прозрачной темноте пройдет до самой двери,
С порога бросит взгляд на жалкую кровать,
И пальцем странный сон на пыльном секретере
Запишет, уходя, но слов не разобрать.

1994



Вот когда человек средних лет, багровея, шнурки
Наконец-то завяжет и с корточек встанет, помедля,
И пойдет по делам по каким позабыл от тоски
Вообще и конкретной тоски, это — зрелище не для
Слабонервных. А я эту муку люблю, однолюб.
Во дворах воробьев хороня, мы ее предвкушали,
И — пожалуйста. “Стар я, — бормочет, —

несчастлив и глуп.

Вы читали меня в периодике?” Нет, не читали
И читать не намерены. Каждый и сам умудрен
Километрами шизофрении на страшном диване.
Кто избавился, баловень, от роковых шестерен?
(Поступь рока слышна у Набокова в каждом романе.)

Раз в Тбилиси весной в ореоле своем голубом
Знаменитость, покойная ныне, кумир киноведов,
Приложением к лагерным рассказам вынес альбом —
Фотографии кровосмесителей и людоедов.

На пол наискось выскользнул случаем с пыльных

страниц

Позитив в пол-ладони, окутанный в чудную дымку
Простодушия, что ли, сияния из-под ресниц..

— Мне здесь пять, — брякнул гений. Мы отдали

должное снимку.

Как тебе наше сборище, а, херувим на горшке?

Люб тебе пожилой извращенец, косящий с первой?

Это было похлеще историй о тухлой кишке

И о взломе мохнатого сейфа. Опять-таки нервы.

В свете вышеизложенного, башковитый тростник,
Вряд ли ты ошарашишь читателя своеобразием
И премудростью книжною. Что же касается книг,
Человека воде уподобили, пролитой наземь,
Во Второй Книге Царств. Он умрет, как у них повелось.
Воробьи (да, те самые) сядут знакомцу на плечи.
Если жизнь дар и вправду, о смысле не может быть речи.
Разговор о Великом Авось.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1995–2018 годов



Как ангел, проклятый за сдержанность свою,
Как полдень в сентябре — ни холодно, ни жарко,
Таким я делаюсь, на том почти стою,
И радости не рад, и жалости не жалко.
Еще мерещится заката полоса,
Невыразимая, как и при жизни было,
И двух тургеневских подпасков голоса:
— Да не училище — удилище, мудила!
Еще — ах, боже ты мой — тянет острие
Вечерний отсвет дня от гамака к сараю;
Вершка не дотянул, и ночь берет свое.
Умру — полюбите, а то я вас не знаю..
Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что:
Сказать идите вон, уважьте, осчастливьте?
Но полон дом гостей, на вешалке пальто.
Гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте.
NN без лифчика и с нею сноб-юнец.
Пострел из Зальцбурга и кто-то из Ростова.
И птичка, и жучок, и травка, наконец,
Такая трын-трава — и ничего другого.

1995



Когда я жил на этом свете
И этим воздухом дышал,
И совершал поступки эти,
Другие, нет, не совершал;
Когда помалкивал и вякал,
Мотал и запасался впрок,
Храбрился, зубоскалил, плакал —
И ничего не уберег;
И вот теперь, когда я умер
И превратился в вещество,
Никто — ни Кьеркегор, ни Бубер —
Не объяснит мне, для чего,
С какой — не растолкуют — стати,
И то сказать, с какой-такой
Я жил и в собственной кровати
Садился вдруг во тьме ночной...

1995



Есть горожанин на природе.
Он взял неделю за свой счет
И пастерначит в огороде,
И умиротворенья ждет.
Семь дней, прилежнее японца
Он созерцает листопад,
И блеск дождя, и бледность солнца,
Застыв с лопатой между гряд.

Люблю разуть глаза и плакать!
Сад в ожидании конца
Стоит в исподнем, бросив в слякоть
Повязку черную с лица.
Слышна дворняжек перепалка.
Ползет букашка по руке.
И не элегия — считалка
Все вертится на языке.
О том, как месяц из тумана
Идет-бредет судить-рядить,
Нож вынимает из кармана
И говорит, кому водить.
Об этом рано говорить.
Об этом говорить не рано.

1995



“Пидарасы”, — сказал Хрущев.
Был я смолоду не готов
Осознать правоту Хрущева,
Но, дожив до своих годов,
Убедился, честное слово.

Суета сует и обман,
Словом, полный анжамбеман.
Сунь два пальца в рот, сочинитель,
Чтоб остались только азы:
Мойдодыр, “жи-ши” через “и”,
Потому что система — ниппель.

Впору взять и лечь в лазарет,
Где врачует речь логопед.
Вдруг она и срастется в гипсе
Прибаутки, мол, дул в дуду
Хабибулин в х/б б/у —
Всё б/у. Хрущев не ошибся.

1995



Найти охотника. Головоломка.
Вся хитрость в том, что ясень или вяз,
Ружье, ягдташ, тирольская шляпенка
Сплошную образуют вязь.

Направь прилежно лампу на рисунок
И угол зренья малость измени,
Чтобы трофеи, ружьецо, подсумок
Внезапно выступили из тени.

Его на миг придумала бумага —
Чуть-чуть безумец, несколько эстет,
Преступник на свободе, симпатяга —
Сходи на нет, теперь сходи на нет!

И вновь рисунок как впервой неясен.
Но было что-то — перестук колес
Из пригорода, вяз, не помню, ясень —
Безмерное, ослепшее от слез,

Блистающее в поселковой луже,
Под стариковский гомон воронья..
И жизнь моя была б ничуть не хуже,
Не будь она моя!

1996



Когда пришлют за мной небесных выводных...

А. СОПРОВСКИЙ

Социализм, Москва, кинотеатр,
Где мы с Сопровским молоды и пьяны.
Свет гаснет, первый хроникальный кадр —
Мажор с экрана.
В Ханое — труд, в Софии — перепляс,
Трус, мор и глад — в Нью-Йорке.
А здесь последний свет погас —
Сопровский, я и “777”.

Мы шли на импортный дурман,
Помноженный на русский градус.
Но мой дружок мертвецки пьян —
Ему не в радость.
Огромные закрытые глаза.
Шпана во мраке шутки шутит.
Давай-ка, пробуждайся, спать нельзя —
Смотри, какую невидаль нам крутят:
Слепой играет аккордеонист,
И с пулей в животе походкой шаткой
Выходит, сквернословя, террорист
Во двор, мощный мощною брусчаткой.

Неряха, вундеркинд, гордец,
Исчадь книжной доблести и сплина,
Ты — сеятель причин и следствий жнец,
Но есть и на тебя причина.

Будь начеку, отчисленный студент.
Тебя, мой друг большеголовый,
Берет на карандаш — я думал, мент,
А вышло — ангел участковый.

1997



идет по улице изгой
для пущей важности с серьгой
впустую труженик позора
стоял на перекрестке лет
три цвета есть у светофора
но голубого цвета нет

а я живу себе покуда
художником от слова худо
брожу ль туда-сюда при этом
сизу ль меж юношей с приветом
никак к ней к смерти не привыкнешь
все над каким-то златом чахнешь
умрешь как миленький не пикнешь
ну разве из приличья ахнешь

умри себе как все ребята
и к восхищению родни
о местонахожденьи злата
агонизируя сболтни

1997



Так любить — что в лицо не узнать,
И проснуться от шума трамвая.
Ты жена мне, сестра или мать,
С кем я шел вдоль околицы рая?

Слышишь, ходит по кругу гроза —
Так и надо мне, так мне и надо!
Видишь, вновь закрываю глаза,
Увлекаемый в сторону ада.

Заурядны приметы его:
Есть завод, проходная, Кузьминки,
Шум трамвая, но прежде всего —
По утраченной жизни поминки.

За столом причитанья и смех,
И под утро не в жилу старшому
Всех вести на обоссанный снег
И уже добивать по-простому.

Оставайся со мной до конца,
Улыбнись мне глазами сухими,
Обернись, я не помню лица,
Назови свое прежнее имя.

1997



Баратынский, Вяземский, Фет и проч.
И валяй цитируй, когда не лень.
Смерть — одни утверждают — сплошная ночь,
А другие божатся, что Юрьев день.
В настоящее время близка зима.
В Новый год плесну себе коньячку.
Пусть я в общем и целом — мешок дерьма,
Мне еще не скучно хватить снежку
Или встретиться с зеркалом: сколько лет,
Сколько зим мы знакомы, питомец муз!
Ну решайся, тебе уже много лет,
А боишься выбрать даже арбуз.
Семь ноль-ноль. Пробуждается в аккурат
Трудодень, человекоконь гужевой.
Каждый сам себе отопри свой ад,
Словно дверцу шкафчика в душевой.

1997



Осенний снег упал в траву,
И старшеклассница из Львова
Читала первую строфу
“Шестого чувства” Гумилёва.

А там и жизнь почти прошла,
С той ночи, как я отнял руки,
Когда ты с вызовом прочла
Строку о женщине и муке.

Пострел изрядно постарел,
И школьницахватила лиха,
И снег осенний запестрел,
И снова стало тихо-тихо.

С какую целью я живу,
Кому нужны ее печали,
Зачем поэта расстреляли
И первый снег упал в траву?

1997

НА СМЕРТЬ И. Б.

Здесь когда-то ты жила, старшекласницей была,
А сравнительно недавно своевольно умерла.
Как, наверное, должна скверно тикать тишина,
Если женщине-красавице жизнь стала не мила.
Уроженец здешних мест, средних лет, таков, как есть,
Ради холода спинного навещаю твой подъезд.
Что ли, роз на все возьму, на кладбище отвезу,
Урону, как это водится, нетрезвую слезу...
Я ль не лез в окно к тебе из ревности, по злобё
По гремучей водосточной к небу задранной трубе?
Хорошо быть молодым, молодым и пьяным в дым —
Четверть века, четверть века зряшным подвигам моим!
Голосом, разрезом глаз с толку сбит в толпе не раз,
Я всегда обозначался, не ошибся лишь сейчас,
Не ослышался — мертва. Пошла кругом голова.
Не любила меня отроду, но ты была жива.

Кто б на ножки поднялся, в дно головкой уперся,
Поднатужился, чтоб разом смерть была, да вышла вся!
Воскресать так воскресать! Встали в рост отец и мать.
Друг Сопровский оживает, подбивает выпивать.
Мы “андроповки” берем, что-то первая колом —
Комом в горле, слущким слогом да частушечным стихом.
Так от радости пьяны, гибелью опалены,
В черно-белой кинохронике вертаются с войны.
Нарастает стук колес и душа идет вразнос.
На вокзале марш играют — слепнет музыка от слез.
Вот и ты — одна из них. Мельком видишь нас двоих,
Кратко на фиг посылаешь обожателей своих.

Вижу я сквозь толчею тебя прежнюю, ничью,
Уходящую безмолвно прямо в молодость твою.
Ну, иди себе, иди. Все плохое позади.
И отныне, надо думать, хорошее впереди.
Как в былые времена встань у школьного окна.
Имя, девичью фамилию выговорит тишина.



Раб, сын раба, я вырвался из уз,
Я выпал из оцепененья.
И торжествую, зная наизусть
Давно лелеемое приключенье.
Сейчас сорвется тишина на крик —
Такую я задумал шалость.
Смерть в каждом кустике храбрится: чик-чирик —
Но только в радость эта малость.

Разбить бы вдребезги, чтоб набело срослось,
Воздать сторицей, хлопнуть дверью.
Визжи, визжи, расхлябанная ось
Между Аделаидою и Тверью!
Деревня-оползень на правом берегу,
Паром, пичуга в воздухе отпетом —
Всё это, если я смогу,
Сойдется наконец с ответом.

Мирон Пахомыч, к отмели рули,
Наляг, Харон Паромыч, на кормило.
По моему хотенью журавли,
Курлыча, потянулись к дельте Нила.
“Казбечину” с индийской коноплей
Щелчком отбросив, вынуть парабеллум.
Смерть пахнет огородною землей,
А первая любовь — травой и телом.



близнецами считал а когда разузнал у соседки
оказался непарный чудак-человек
он сходил по-большому на лестничной клетке
оба раза при мне и в четверг
мой народ отличает шельмец оргалит от фанеры
или взять чтоб не быть голословным того же меня
я в семью возвращался от друга валеры
в хороводе теней три мучительных дня
и уже не поверят мне на слово добрые люди
что когда-то я был каждой малости рад
в тубетейке со ртом до ушей это я на верблюде
рубль всего а вокруг обольстительный ленинабад
я свой век скоротал как восточную сказку
дромадер алкоголя горячечные миражи
о снимки с меня жено похмельную маску
и бай-бай уложи
пусть я встану чем свет не таким удручающим что ли
как сегодня прилег
разве нас не учили хорошему в школе
где пизда марь иванна проводила урок
иванов сколько раз повторять не вертись и не висни
на анищенко сел по-людски
все открыли тетради пишем с красной строки
смысл жизни

1999



Мама чашки убирает со стола,
Папа слушает Бетховена с утра,
“Ножи-ножницы” — доносится в окно,
И на улице становится темно.
Раздается ультиматум “марш в кровать!” —
То есть вновь слонов до одури считать,
Или вскидываться за полночь с чужой
Перевернутой от ужаса душой.
Нюра-дурочка, покойница, ко мне
Чего доброго пожалует во сне —
Биографию юннату предсказать
Али “глупости” за фантик показать.

Вздор и глупости! Плательщики-жильцы
При ближайшем рассмотреньи — не жильцы.
Досчитали под Бетховена слонов
И уснули, как убитые, без снов.
Что-то клонит и меня к такому сну.
С понедельника жизнь новую начну.
И забуду лад любимого стиха
“Папе сделали ботинки...” — ха-ха-ха.
И умолкнут над промышленной рекой
Звуки музыки нече-лове-ческой.
И потянемся гуськом за тенью тень,
Вспоминая с бодуна воскресный день.

1999



всё разом — вещи в коридоре
отъезд и сборы впопыхах
шесть вялых роз и крематорий
и предсказание в стихах
другие сборы путь неблизок
себя в трюмо а у трюмо
засохший яблока огрызок
се одиночество само
или короткою порою
десятилетие назад
она и он как брат с сестрою
друг другу что-то говорят
обоев клетку голубую
и обязательный хрусталь
семейных праздников люблю
подробность каждую деталь
включая освещенность комнат
и мебель тумбочку комод
и лыжи за комодом — вспомнит
проснувшийся и вновь заснет

1999



Я по лестнице спускаюсь
И тихонько матюкаюсь.
Толстой девочке внизу
Делаю “козу”.

Разумеется, при спуске
Есть на психику нагрузки.
Зря я выпил без закуски —
Как это по-русски!

Солнце прячется за тучкой.
Бобик бегаёт за Жучкой.
Бьется бабушка над внучкой —
Сделай дяде ручкой.

1999



Фальстафу молодости я сказал “прощай”
И сел в трамвай.

В процессе эволюции, не вдруг
Был шалопай, а стал бирюк.

И тем не менее апрель
С безалкогольной каплейю
Мне ударяет в голову, как хмель.

Не водрузить ли несколько скворешен
С похвальной целью?
Не пострелять ли в цель?

Короче говоря, я безутешен.

2000



видимо школьный двор
вестибюль коридор
сдача норм гто
или вроде того

завуч или физрук
на смерть проветрен класс
голосуем лес рук
надо же сколько нас

тщась молодежь увлечь
педагог держит речь
каждого под конец
ждет из пизы гонец

затеряться в толпе
не дано никому
на такое чп
нету увы цэ у

должен знать назубок
школьник повестку дня
лягу на правый бок
не тормози меня

пусть дадут аттестат
пусть оставят в живых
гомонит листопад
МИТИНГ глухонемых

2000



Петру Вайлю

Цыганка ввалится, мотая юбкою,
В вокзал с младенцем на весу.
Художник слова над четвертой рюмкою
Сидишь — и ни в одном глазу.

Еще нагляднее от пойла жгучего
Все-все художества твои.
Бери за образец коллегу Тютчева —
Молчи, короче, и таи.

Косясь на выпивку, частит пророчица,
Но не содержит эта речь
И малой новости, какой захочется
Купе курящее развлечьь.

Играет музычка, мигает лампочка,
И ну буфетчица зевать,
Что самое-де время лавочку
Прикрыть и выручку сдавать.

Шуршат по насыпи чужие особи.
Диспетчер зазывает в путь.
А ты сидишь, как Меншиков в Березове, —
Иди уже куда-нибудь.

2001



Мою старую молодость, старость мою молодую
Для служебного пользования обрисую.
Там чего только нет! — Ничего там особого нет.
Но и то, что в наличии, сходит на нет.
И глаза бы мои не глядели, как время мое
Через силу идет в коллективное небытие.
Обездолят вконец, раскулачат — и точка.
Что ли, впрок попросаемся, дурочка, Звездочка,

Ночка?

Уступая тебя сукомольцам и прочей шпане,
Напоследок скажу: вспоминай обо мне.
И про черный свой день понадежней припрячь их —
Отражения нежностей наших телячьих
В голом зеркале шкафа, которое снег освещал.

Знать по памяти вдох твоего вожделенья и выдох
И иметь при себе, когда кликнут с вещами на выход,
При условии, что память приравнена к личным вещам.

2003



чтобы липа к платформе вплотную
обязательно чтобы сирень
от которой неделю-другую
ежегодно мозги набекрень
и вселенная всенепрерывно
по дороге с попойки домой
раскрывается тайной мгновенной
над садовой иной головой
хорошо бы для полного счастья
запах масляной краски и пусть
прошумит городское ненастье
и т. д. и т. п. наизусть

грусть какая-то хочется чтобы
смеха ради среди белого дня
дура-молодость встала из гроба
и на свете застала меня
и со мною еще поиграла
в ту игру что не стоила свеч
и китайская цацка брэнчала
бесполезная в сущности вещь

2003



Л. Р.

Выживать мелочь со дна кошелька
Вслепую от блеска заката
И, выгудив, бросить два-три медяка
В коробку у ног музыканта.
И — прочь через площадь в закатных лучах
В какой-нибудь Чехии, Польше...
Разбитое сердце, своя голова на плечах —
Чего тебе больше?

2004



Ржавчина и желтизна — очарованье очей.
Облако между крыш само из себя растет.
Ветер крепчает и гонит листву взашей,
Треплет фонтан и журнал позапрошлых мод.

Синий осенний свет — я в нем знаю толк как никто.
Песенки спетой куплет, обещанный бес в ребро.
Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро
Женщину 23-х лет в длинном черном пальто.

2004



Признаки жизни, разные вещи —
примус и клещи.
Шмотки на выброс, старые снимки —
фотоужимки.

Сколько стараний, поздних прозрений,
ранних вставаний!
Дачная рухлядь — вроде искусства,
жизни сохранней.

И воскрешает, вроде искусства,
сущую малость —
всякие мысли, всякие чувства,
прочую жалость.

Вплоть до частушки о волейболе
и валидоле...
Платье на стуле — польское, что ли,
матери, что ли?

2005

Среди прочего, отец научил отыскивать Кассиопею — небесную “дубль-ве”.

Среди прочего, незадолго до смерти построил дачу.

Есть что-то непристойное в расхожих рассказах

о загробных проделках усопших: о сберкнижке,

чудом обнаруженной на сорокадневье вкладчика;

о сверхъестественном падении этажерки,

знаменующем-де присутствие покойного — и т. п.

ТЬфу!.. Будто поминаются не “возлюбленные тени”,

а массовики-затейники средней руки.

Вот когда новогодней ночью

из дюжины свечей на дачном снегу

держались до последнего ровно пять,

образовав вышеуказанный астрономический зигзаг...

2005



“Или-или” — “и-и” не бывает.
И, когда он штаны надевает,
Кофе варит, смолит на ходу,
Пьет таблетки, перепроверяет
Ключ, бумажник, электроплиту
И на лестницу дверь отворяет,
Старый хрен, он уже не вздыхает,
Эту странность имея в виду.

2005



Драли глотки за свободу слова —
Будто есть чего сказать.
Но сонета 66-го
Не перекричать.

Чертежей моих не троньте —
Нехорош собой, сутул
Господин из Пиндемонти
Одежонку вешает на стул.

День-деньской он черт-те где слонялся
Вечно не у дел.
Спать охота — чтобы дуб склонялся,
Чтобы голос пел.

2005



В коридоре больнички будто крик истерички
В ширину раздается, в длину.
И косятся сестрички на шум электрички,
Пациенты теснятся к окну.

От бессонницы воображенье двоится —
То слоняешься по коридорам больницы,
То с тяжелым баулом бегом
В хвостовой поспеваешь вагон.

Как взаправду, толпятся в проходе старухи,
Как живой, гитарист — трень да брень.
Наизусть сочиняй воровские кликухи
Станций и деревень.

Предугадывай с маниакальной заботой
Новобранца со стрижкой под нуль.
Пусть пройдет вдоль вагона с жестокой зевотой
Милицейский патруль.

И тогда заговорщицки шелкнет по горлу
Забуддыга-сосед.
Память-падальщица, ишь ты, крылья простерла!
Вязкий ужас дорожных бесед.

Отсылающих снова к больничной курилке,
Где точь-в-точь просвещал человек.
Но по логике сна озираешься в ссылке —
То ли Вытегра, то ли Певек.

Так и травишь себя до рассвета,
Норвя, будто клеєм шпана,
С содроганием химией, химией этой
Надышаться сполна.

2006



В черном теле лирику держал,
Споров о высоком приобщился,
Но на кофе, чтобы не сбежал,
Исподволь косился.
Все вокруг да около небес —
Райской спевки или вечной ночи.
Отсебятина, короче,
С сахаром и без.

Доходи на медленном огне
Под метафизические враки.
К мраку привыкай и тишине,
Обживайся в тишине и мраке.
Пузыри задумчиво пускай,
Помаленьку собираясь с духом,
Разом перелиться через край —
В лирику, по слухам.

2006



Мне нравится смотреть, как я бреду,
Чужой, сутулый, в прошлом многопьющий,
Когда меня средь рощи на ходу
Бросает в вечный сон грядущий.

Или потом, когда стою один
У края поля, неприкаян,
Окрестностей прохожий господин
И сам себе хозяин.

И сам с собой минут на пять вась-вась
Я медленно разглядываю осень.
Как засран лес, как жизнь не удалась.
Как жалко леса, а ее — не очень.

2006



Ю. К.

Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин...

В. ХОДАСЕВИЧ

“О-да-се-вич?” — переспросил привратник
и, сверившись с компьютером, повел,
чуть шевеля губами при подсчете
рядов и мест.

Мы принесли — фиалки-не фиалки —
незнамо что в пластмассовом горшке
и тихо водрузили это дело
на типовую серую плиту.

Был зимний вполнакала день.
На взгляд туриста, неправдоподобно —
обыденный: кладбище как кладбище
и улица как улица, в придачу —
бензоколонка.

Вот и хорошо.

Покойся здесь, пусть стороной пройдут
обещанный наукою потоп,
ислама вал и происки отчизны —
охотницы до пышных эксгумаций.

Жил беженец и умер. И теперь
сидит в теньке и мокрыми глазами
следит за выкрутасами кота,
который в силу новых обстоятельств
опасности уже не представляет
для воробьев и ласточек.

2007



Очкарику наконец
овчарку дарит отец.
На радостях двух слов
связать не может малец.

После дождя в четверг
бредешь наобум, скорбя.
“Молодой, — кричат, — человек!”
Не рыпайся: не тебя.

Почему они оба — я?
Что общего с мужиком,
кривым от житья-бытья,
у мальчика со щенком?

Где ты был? Куда ты попал?
Так и в книжке Дефо
попугай-трепло лопотал —
только-то и всего.

И по улице-мостовой,
как во сне, подходит трамвай.
Толчая, фонарь на столбе.
“Негодяй, — бубнят, — негодяй!”
Не верти, давай, головой —
это, может быть, не тебе.

2007

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ОТРОЧЕСТВЕ

I

Первый снег, как в замедленной съемке,
На Сокольники падал, пока,
Сквозь очки озирая потемки,
Возвращался юннат из кружка.

По средам под семейным нажимом
Он к науке питал интерес,
Заодно-де снимая режимом
Переходного возраста стресс.

Двор сиял, как промытое фото.
Веренице халуп и больниц
Сообщилось серьезное что-то —
Белый верх, так сказать, черный низ.

И блистали столетние липы
Невозможной такой красотой.
Здесь теперь обретаются VIPы,
А была — слобода слободой.

И юннат был мечтательным малым —
Слава, праздность, любовь и т. п.
Он сказал себе: “Что как тебе
Стать писателем?” Вот он и стал им.

2006

II

Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля —
иная, лучшая мне грезилась игра
среди пляжной немочи короткого июля.
Эй, Клязьма, оглянись, поворотись, Пахра!

Исчадь трепетное пекла пубертата
ничком на толпами истоптанной траве
уже навряд ли я, кто здесь лежал когда-то
с либидо и обидой в голове.

Твердил внеклассное, не заданное на дом,
мечтал и поутру, и отходя ко сну
вертеть туда-сюда — то передом, то задом
одну красавицу, красавицу одну.

Вот, думал, вырасту, заделаюсь поэтом —
мерзавцем форменным в цилиндре и плаще,
вздохну о кисло-сладком лете этом,
хлебну того-сего — и вообще.

Потом дрались в кустах, еще пускали змея,
и реки детские катились на авось.
Но, знать, меж дачных баб, урча, слонялась фея —
ты не поверишь: все сбылось

2007

АНТОЛОГИЧЕСКОЕ

Сенека учит меня
что страх недостоин мужчины
для сохраненья лица
сторону смерти возьми

тополь полковник двора
лихорадочный треп первой дружбы
ночь напролет
запах липы
уместивший всю жизнь

вот что я оставляю
а Сенека учит меня

2008



Мама маршевую музыку любила.
Веселя бесчувственных родных,
виновато сырость разводила
в лад призывным вздохам духовых.

Видно, что-то вроде атавизма
было у совслужащей простой —
будто нет его, социализма,
на одной шестой.

Будто глупым барышням уездным
не собрать серебряных колец,
как по пыльной улице с оркестром
входит полк в какой-нибудь Елец.

Моя мама умерла девятого
мая, когда всюду день-деньской
надрывают сердце “аты-баты” —
коллективный катарсис такой.

Мама, крепко спи под марши мая!
Отщепенец, маменькин сынок,
самого себя не понимая,
мысленно берет под козырек.

2008

ГОЛЛИВУД

Федеральный агент не у дел и с похмелья
узнает о киднеппинге по CNN.

Кольт — на задницу, по боку зелье —
это почерк NN!

Дальше — больше опасных вопросов.
Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт
неучтенный вагон ядовитых отбросов.

“Dad!” — взывает девчушка навзрыд.

В свой черед с белозубою шуткой
негр-напарник приходит на помощь вдвоем
с пострадавшей за правду одной проституткой —
и спасен водоем.

А к экрану спиной пожилой господин,
весь упрек и уныние, моет посуду
(есть горазды мы все, а как мыть — я один) —
и следы одичания видит повсюду.

Прикрываясь ребенком, чиновная мразь
к вертолету спешит. Пробил час мордобоя.
Хрясь наотмашь раскатисто, хрясь!
И под занавес краля целует героя.

И клеенчатый фартук снимает эстет.
С перекурами к титрам домыта посуда.
Сказка — ложь, но душа, уповая на чудо,
лабиринтом бредет, как в бреде Голливуда,
окликающая потемки растерянно: “Dad?!”

2009



А самое-самое: дом за углом,
смерть в Вязьме, кривую луну под веслом,
вокзальные бредни прощанья —
присвоит минута молчанья.

Так русский мужчина несет до конца,
срамя или слава всесветно,
фамилию рода и имя отца —
а мать исчезает бесследно...

2009



У Гоши? Нет. На Автозаводской?
Исключено. Скорей всего, у Кацов.
И виделись-то три-четыре раза.
Нос башмачком, зеленые глаза,
а главное — летящая походка,
такой ни у кого ни до, ни после.
Но имени-то не могло не быть!

Еще врала напропалую:
чего-то там ей Бродский посвятил,
или Париж небрежно поминала —
одумайся, какой такой Париж?!
Вдруг вызвалась “свой способ” показать —
от неожиданности я едва не прыснул.
Показывала долго, неумело
и, морщась, я ударами молодых
и тощих чресел торопил развязку.

Сегодня, без пяти минут старик,
я не могу уснуть не вообще,
а от прилива скорби.

Вот и вспомнил —
чтоб с облегчением забыть уже
на веки вечные — Немесова. Наташа.

2009



Старость по двору идет,
детство за руку ведет,
а заносчивая молодость
вино в беседке пьет.
Поодаль зрелые мужчины,
Лаиса с персиком в перстах.
И для полноты картины
рояль виднеется в кустах.

Кто в курсе дела, вряд ли станет
стыдиться наших пустяков,
зане метаморфозой занят:
жил человек — и был таков.
А я в свои лета, приятель
и побратим по мандражу,
на черный этот выключатель
почти без робости гляжу.

Чик-трак и мрак. И все же тайна
заходит с четырех сторон,
где светит месяц *made in China*
и спальный серебрит район,
где непременно в эту пору,
лишь стоит отодвинуть штору,
напротив каждого окна —
звезда тщеты, вот и она.

2010



Вот римлянка в свои восемнадцать лет
паркует мотороллер, шлем снимает
и отрясает кудри. Полнолуние.
Местами Тибр серебряный, но пробы
не видно из-за быстрого течения.
Я был здесь трижды. Хочется еще.
Хорошего, однако, понемногу.
Пора “бай-бай” в прямом и переносном,
или напротив: время пробудиться.

Piazza de' Massimi, здесь шлялись с Петей
(смех, а не “пьяцца” — черный ход с Навоны),
и мне пришло на ум тогда, что Гоголь
березу вспомнил, глядя на колонны,
а не наоборот. Так и запишем.

Вот старичье в носках и сандалетах
(точь-в-точь как северные старики)
бормочет в лад фонтану.

А римлянка мотоциклетный шлем
несет за ремешок, будто бадейку
с водой, скорее мертвой, чем живой.
И варвар пришлый, ушлый скиф заезжий
так присмирел на склоне праздной жизни,
что прошептать готов чувихе вслед:
“Хранят тебя все боги Куна..”

ПОДРАЖАНИЕ

Into my heart an air that kills...

A. E. HOUSMAN

Двор пуст и на расправу скор
и режет без ножа.

Чье там окно глядит в упор
с седьмого этажа?

Как чье окно? — Твое окно,
ты обретался здесь
и в эту дверь давным-давно
входил, да вышел весь.

2011



Когда я был молод, заносчив, смешлив,
раз, в забвенье приличий, я не пошел
ни на сходку повес с битьем зеркал,
ни к Лаисе на шелест ее шелков.

А с утра подался на Рижский вокзал,
взял билет, а скорее всего, не брал,
и за час примерно доехал до... —
вот название станции я забыл.

В жизни я много чего забыл,
но помню тот яркий осенний день —
озноб тополей на сентябрьском ветру,
синее небо и т. п.

В сельпо у перрона я купил
чекушку и на сдачу батон,
спросил, как короче пройти к реке —
и мне указали кратчайший путь.

В ивах петляла Истра-река,
переливалась из света в тень.
И повторялись в реке берега,
как повторяются по сей день.

Хотя миновало сорок лет —
целая вечность коту под хвост, —
а река все мешает тень и свет;
но и наш пострел оказался не прост.

Я пил без закуски, но не косел,
а отрезвлялся с каждым глотком.
И я встал с земли не таким, как сел,
юным зазнайкой-весельчаком.

Выходит, вода пустычной реки,
сорок лет как утекшая прочь стремглав,
по-прежнему держит меня на плаву,
даже когда я кругом неправ.

Шли и шли облака среди тишины,
и сказал я себе, поливая траву:
“Значит, так” — и заправил рубашку в штаны —
так с тех пор и живу.



О. Т.

Обычно мне хватает трех ударов.
Второй всегда по пальцу, бляха-муха,
а первый и последний по гвоздю.

Я знаю жизнь. Теперь ему висеть
на этой даче до скончания века,
коробиться от сырости, желтеть
от солнечных лучей и через год,
просроченному, сделаться причиной
неоднократных недоразумений,
смешных или печальных, с водевильным
оттенком.

Снять к чертям — и на растопку!
Но у кого поднимется рука?

А старое приспособление для
учета дней себя еще покажет
и время уместит на острие
мгновения.

Какой-то здешний внук,
в годах, небритый, с сухостью во рту,
в каком-нибудь две тысячи веселом
году придет со спутницей в музей
(для галочки, Европа, как-никак).

Я знаю жизнь: музей с похмелья — мука,
осмотр шедевров через не могу.
И вдруг он замечает, бляха-муха,
охотников. Тех самых. На снегу.

2011

ANIMAL PLANET

... а диктор нам и говорит: “Сегодня Нэнси проводит необычный мастер-класс. Сезон дождей оставил по себе болота, и поблизости в трясику по брюхо провалилась буйволица. И мать наглядно обучает львят искусству лобовой атаки...”

О, подлое мое воображенье!
Мне заживо — мне, мне —
паршивцы объедают мочку носа,
глаза и щеки, уши и загривок!..

Что, командир, мир привести в движенье
каким-нибудь другим горючим, кроме
резни и ужаса, было слабо?!
Одно из трех:

ты — или неумеха,
как Коля-Николай, сантехник и
борец с похмельем;
или извращенец.

Или (в порядке бреда) ты у нас —
маньяк-артист, в гробу выдавший жалость.

Как бы то ни было, последний лемминг
имеет право пискнуть в голос “fuck you”
и в небо оттопырить средний пальчик...

2013



Вчера мне снился скучный коридор,
где ходим мы с отцом туда-обратно.
И я несу какой-то вздор,
а он молчит, в свой драп одет квадратный.

Вдруг девица-краса из прежних дней —
вся вечная разлука и могила —
и вот я норовлю украдкой к ней
прижаться, чтобы отпустило.

Когда отец из темного угла —
о прописной психоанализ! —
проговорил, что мама умерла —
и спешно мы засобирались.

Но вспомнил я сквозь тусклое кино
с каким-то непристойным облегченьем,
что все они мертвы давным-давно,
и справился с сердцебиеньем.

Лишь мне до срока с этой стороны
в избытке мертвенной печали
наведываться мимоходом в сны,
куда они навек откочевали.

2013



Старый князь умирает и просит:

“Позовите Андрюшу...”

Эта фраза из раза в раз вынимает мне душу,

потому что, хотя не виконты и не графья мы,
в самых общих чертах похоже на смерть моей мамы.

Было утро как утро, солнце светило ярко.

“Позовите Сашу, Сережу, найдите Марка”, —

воскликнула в беспамятстве и умерла назавтра.
Хорошо бы спросить напрямую известного автора,

отчего на собственный мир он идет войною,
разбивает сердца, разлучает мужа с женою.

Либо что-то в виду имеет, но сказать не умеет,
либо он ситуацией в принципе не владеет.

2013



Говорю ли с женой об искусстве
или скромно блюду тишину,
речь в конечном итоге о чувстве,
обуявшем меня и жену.

Иль, сверкая вставными зубами,
поучаю красавицу дочь —
снова та же фигня между нами,
не иначе, сомнения прочь!

Или с сыном, решительным Гришей,
за бутылкой тиранов клянусь,
речь о том же идет, что и выше —
в мирных строфах про дочь и жену.

И когда я с Магариком Лешей
в многодневный запой ухожу,
объяснение одно — он хороший,
этот Леша, с которым дружу.

Даже если гуляю барбосов
с грубой целью “а-а” и “пи-пи”,
у тебя не должно быть вопросов —
это тоже в порядке любви.

Очень важно дружить и влюбляться,
от волнения много курить,
по возможности совокупляться
и букеты собакам дарить!

2013

ИЗ ЕККЛЕСИАСТА

Владимиру Радунскому

Кирпич Толстого для отвода глаз
на парте, а украдкой из-под парты
слепую копию взахлеб читает класс
в двадцатых числах марта.
Доска закатом злачным залита,
и невдомек унылым педагогам,
чем там Элеонора занята
сперва с виконтом, после — с датским догом.

Физ-ра. “Чи-то-чи-ма-чи-ду-чи-ра” —
вот, собственно, и все про эту Тому.
Но задница ее! Но буфера!
Бреди давай по направленью к дому,
наперевес держа свою истому,
как будто в пику старому и злому
Толстому, Аракчееву добра.

Греши, пока грешится — твой черед.
Нет опыта, чтоб задом наперед
с равнением на вечную разлуку.
Чи-со-чи-весть до времени не в счет,
и суета сует свое берет,
когда на реках трогается лед,
и барчуки насилуют прислугу.

2014

“TOMBE LA NEIGE”

Снег под утро завалил дворы и стогны,
а на третьем этаже пылают окна.
Спят филистеры от мала до велика,
а на третьем этаже не вяжут лыка.

Новый гость в дверях — и сна как не бывало,
на колу мочало начинай сначала —
Достоевский, ностальгия по капстранам
И, само собою, ненависть к тиранам.
В ванной нежный запах рвоты с перепую,
а на кухне суд вершится над толпою.

Много позы, много вздора, много пыла,
мимо пепельниц оброненного пепла
и сумятицы, но все же что-то было,
плюс, конечно, пекло в чреслах, в чреслах пекло.

Новый гость заводит речь о мокром снеге,
замечает, что не прочь отведать снеди,
и включается, жуя, в пиздеж о смерти.

Как-то так. И приложением к снегопаду —
близкий танец под французскую эстраду.

2013

СМЕРТЬ В ПАРИЖЕ

Памяти друзей

Эта девушка божилась, что умрет в Париже.
К своему стыду, не знаю, где ее могила.
Вероятно, не в Париже, а гораздо ближе,
если у нее в Кузьминках сердце прихватило.

О, поспешные обеты, нищие обеды!
Много скверного спиртного под мануфактуру.
Пусть прочтут стихи по кругу нервные поэты,
будто здесь у нас — парадный вход в литературу.

Здесь у нас лежат на кухне алкаши-аркадцы,
изнывая от похмелья. Разве нет, Аркаша?
Пастухам к лицу цевница, каждый рад стараться —
да с утра тахикардия, выручай, Наташа!

Через час пришла с мороза горе-парижанка,
и сказала, открывая крепкие напитки:
— Или я люблю искусство и поэтов жалко,
или, есть такое мнение, дело в щитовидке...

А покойный друг Аркадий стал ей строить куры
и, как записной Ромео, взвыл “О, говори же,
светлый ангел!”

Вновь сгущался чад литературы —
в тот запой и прозвучала мысль про смерть в Париже.

2015

СКАЗКА

Раскачивается волна
и моет бережок.
Он — рыцарь бедный, а она
слаба на передок.
У них с рассвета мимими —
чаёк, герань, уют,
а ближе к вечеру они
в сердцах тарелки бьют.

Не раз он вскидывал копье,
но в битвах тосковал
по глупым возгласам ее —
“прикольню”, “блин” и “вау”.
В конце концов, смахнув слезу,
в ужасную грозу
уплыл он по морю в тазу
на голубом глазу.

Все, что здесь мелют о любви
между двумя людьми, —
херня, гори оно огнем,
ебись оно конем!
Я — дядя с левою резьбой,
с повинной головой.
Вот я стою перед тобой,
как лист перед травой.

2016



И. Д.

За соловьем не заржавеет —
овраги стонут и гремят,
и жизнь внезапно цепенеет
точь-в-точь один Хаджи-Мурат,
когда, свое волнение выдав,
он расплескал кувшин с водой,
внимая пению мюридов
под обреченную звездой.

2015



Детский ад на старинной картинке,
где спускают семь шкур по старинке —
жарят заживо, вдумчиво бьют,
кормят сельдью и пить не дают.

А когда торжествует наука,
в ход идет просвещенная мука:
рай утраченный (вид из окна) —
дуб, скамейка, мангал, бузина.

2018

Домашняя работа

(Рассуждения о поэзии)

От автора

Всю сознательную жизнь я время от времени размышлял над всякими вопросами поэзии, которой отдал эту самую жизнь, — прошу прощения за пафос. Окончательных ответов на свои вопросы я, по всей видимости, не получил, но собственно ход моей мысли может быть любопытен для людей, особенно молодых людей, не равнодушных к этому искусству*.

Им в первую очередь я и адресую эти рассуждения.

А посвящаю я настоящие писания моему отцу, Марку Моисеевичу Гандлевскому, который искренне любил стихи и, видимо, увлек меня своей любовью.

* Примерно половина вошедших в эту книгу заметок написана по инициативе талантливого исследователя новейшей поэзии Владислава Кулакова для рубрики “Культура” интернет-газеты Lenta.ru

ТАНЦЫ ЗА ПЛУГОМ

Г. Ф. Комарову

І. Зачем вообще стихи?

Ей-богу, не знаю. Думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что подавляющее большинство людей прекрасно обходятся без поэзии. И это по-человечески не говорит о них ни хорошо, ни плохо: они просто не получают от стихов удовольствия.

Английский классик Уистен Оден высказался вполне определенно: “Poetry makes nothing happen”, что можно перевести как “поэзия ничем не оборачивается”, или совсем вольно: “Поэзия — сотрясение воздуха”. И все же, безделица поэзии для восприимчивого к ней человека иногда оборачивается эстетической радостью, даже потрясением.

В древности стихами (впрочем, по нынешним понятиям довольно необычными) писались священные тексты — считается, что для удобства массового запоминания наизусть. Спустя столетия поэзия опростилась и постепенно стала пристрастием и баловством, вроде спорта, коллекционирования всякой всячины или любви к путешествиям. Балов-

ством-то баловством, но с самыми серьезными вещами: с любовью, со смертью, со смыслом или бессмыслицей жизни и т. п.

Не только великий писатель, но и очень умный человек Лев Толстой считал, что сочинять стихи — все равно что танцевать за плугом. Он, вероятно, имел в виду, что думать на главные темы и так просто, зачем же еще усложнять себе задачу, отвлекаясь на всякие выкрутасы — размер и рифму. Но чуткие к поэзии люди могли бы возразить, что Толстой в общем и целом прав, кроме тех случаев, когда он *не* прав.

Возьмем для примера такое философское суждение: объективный мир и человеческое мышление имеют принципиально разные начала, поэтому все попытки осмыслить устройство мироздания тщетны. Суждение как суждение — глубокое и горькое, его можно принять к сведению. Но вот как высказался на ту же тему Тютчев:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Для чувствительного читателя эти четыре строки тотчас делают отвлеченное философское предположение личным переживанием, дают возможность испытать *собственную и сиюминутную* эмоцию от старинной выкладки ума. А знать какую-либо точку зрения на предмет и испытать по поводу того же предмета собственное чувство — качественно разные вещи.

Зачем мы посещаем памятные для себя места — двор детства или окрестности дачи, где жили ко-

гда-то? Мы разве не знаем заранее, что нас там больше нет, что нет в живых многих людей, с памятью о которых связаны эти пейзажи? Или для нас новость, что время безвозвратно проходит? Всё мы прекрасно знаем, но хотим *пережить* этот опыт вновь, понарошку воскресить прошлое, убедиться в собственной причастности к печали и радости жизни.

Что-то такое представляет собой и поэзия в сложившемся за последние два с половиной столетия понимании. Ее можно сравнить со снадобьем, под воздействием которого разыгрывается воображение, и человек на время оказывается под обаянием какого-либо авторского настроения или хода мысли, но при этом все-таки отдает себе отчет, *чем* вызван неожиданный прилив определенных мыслей и чувств. Нечто вроде полусна на заказ.

Вот этот-то, сродни наркотическому, эффект искусства, скорей всего, и раздражал моралиста Толстого. И он имел право на раздражение, поскольку, как мало кто, знал, с чем имеет дело.

Но здесь — перекресток. Если мир и человеческая жизнь в нем — урок с более или менее известным ответом, то поэзия, конечно же, помеха, потому что рассеивает внимание и отвлекает от “учебы”. При таком раскладе поэзия может пригодиться лишь в качестве наглядного пособия или мнемонического подспорья.

Но если допустить, что мир возник и существует по мановению непостижимой — личной или безличной — творческой стихии, то искусству, включая и такое бесполезное, как поэтическое, нечего стесняться: соразмерность и равновесие его шедевров пребывают, как кажется, в согласии с загадочными законами и пропорциями мироустройства.

Хочется думать, что именно это имел в виду Пушкин, когда сказал: “Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело”.

Получается, что я так и не ответил на вынесенный в заголовок вопрос “Зачем вообще стихи?” Но это, в конце-то концов, даже утешительно: значит, поэзия — из ряда главных явлений человеческого бытия, смысл которых так и останется вечной головоломкой.

II. *Все или ничего*

Выше я пытался возражать толстовскому сравнению поэзии с танцем за плугом; сейчас я собираюсь Толстому поддакивать.

Со времен романтизма поэзия добилась права не приносить ощутимой пользы, но это послабление усложнило стихотворцам задачу. Освобожденные от обязанности поставлять читателям какие-либо положительные сведения, лирики обрекли себя на максималистский режим эстетической оценки и самооценки: либо пан — либо пропал.

В помянутом четверостишии Тютчева (“Природа — сфинкс. И тем она верней...”) содержится философская мысль, но это вовсе не правило лирического жанра, просто Тютчев — автор с таким складом ума и таланта. Можно привести примеры немалого числа шедевров самой скромной, на равнодушный взгляд, содержательности при неэкономном расходовании слов — мастером на такие опусы был Георгий Иванов:

Если бы я мог забыться,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало,

Наконец — утомилось,
Навсегда окаменело,
Но — как Лермонтову снилось —
Чтобы где-то жизнь звенела...

... Что любил, что не допето,
Что уже не видно взглядом,
Чтобы было близко где-то,
Где-то близко было рядом...

Вот уж и впрямь не стихи, а какое-то камлание. В них нельзя убавить ни слова, хотя, казалось бы, такую скудную информацию можно было бы передать куда короче.

Но поэзия — *“иное дело”*, и информация у нее *иная* — передать состояние души, а в случае полной удачи — *стать* на какой-то срок состоянием души другого человека.

Вот, скажем. Кому не случалось слышать в просвещенном разговоре сентенцию “Не сравнивай: живущий несравним...” или, чего доброго щегольнуть ею самому? А между тем, в разговорном употреблении эта цитата приобретает чуть ли не восточно-назидательную интонацию, вроде “Что ты спрятал, то пропало. Что ты отдал, то — твое!”, и вводит в заблуждение насчет пафоса мандельштамовского стихотворе-

ния. Да и здравая мысль о хромоте сравнений не бог весть как оригинальна. Но, открывая стихотворение, это высказывание звучит психологически достоверно и поэтому проникновенно: мы тотчас получаем ключ к настроению лирического героя — человека, выбитого из колеи, озирающегося на новом месте, уговаривающего себя смириться с положением вещей и погруженного во внутренний монолог, начала которого мы не застали: “Не сравнивай: живущий несравним...” И именно таким мгновенным включением в бормотание на ходу и достигается эффект присутствия, почти перевоплощения. И чуткий читатель, даже не зная, что стихи написаны ссыльным, расслышит ноту неприкаянности и неблагополучия.

“Прямой эфир” душевного состояния, имитация репортажа о переживании — хлеб лирики, поэтому ей, в отличие от прочих жанров литературы, позволительно говорить от авторского лица что Бог на душу положит, если, конечно, эти речи характерны для данного настроения. Примеров не счесть: “Я знаю — гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете!” (В. Маяковский); “На свете смерти нет: Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят...” (А. Тарковский). И только сухарь и зануда придерется к психологически оправданным гиперболам: “Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим...” (А. Пушкин), или — “А вот у поэта всемирный запой. И мало ему конституций...” (А. Блок). Искушенный читатель не мерит стихи на аршин бытовой этики — он ищет достоверности переживания, его эссенции: любовь — так Любовь, скука — так Скука и т. п. Привилегия лири-

ки — снять сливки с драматической ситуации, сказать о следствиях, не вдаваясь в причины.

Но за льготы “бессодержательности”, “безответственности” и “верхоглядства” приходится, с чего я и начал, платить высокую цену: трудиться по двухбалльной системе — *все или ничего*.

“Крепкая проза” — снисходительный, но комплимент; “крепкие стихи” — уничижительный отзыв. Профессиональная, не хватающая звезд с неба проза способна обогатить нас новыми знаниями, чужим опытом и непривычным взглядом на вещи; наконец, просто поможет скоротать дорогу или час-другой ожидания. Средней руки картина оживит стену в квартире, гостиничном номере и т. п. Но прилежное чтение чего бы то ни было “крепкого” и “профессионального”, записанного “в столбик”, — занятие, достойное чичиковского слуги Петрушки.

“Стихи не читают — стихи почитывают”, — поправила подростка Александра Жолковского его интеллигентная мать, когда тот перечислял свои каникулярные достижения.

Ну, хорошо, поэзии больше, чем какому-нибудь другому роду литературы, противопоказано быть всего лишь “литературой”. Но ведь и буквальная “неслыханная простота” для нее не выход. Эпитет “безыскусный” бывает похвалой применительно к прозе, но не к поэзии, которая и существует исключительно за счет диковинных технических ухищрений. Пройти какую-либо дистанцию пешком — одно, но для того, чтобы покрыть ее на лыжах или велосипеде, нужен навык; иначе эти вспомогательные приспособления будут лишь обузой и посмешищем.

Как и большинство вкривь и вкось зарифмованных тостов, школьных утренников, капустников, песен, рекламных призывов и проч. Но показательно и справедливо неистребимое людское убеждение, что праздник и поэзия — явления одного порядка!

Стихов pop-fiction не существует в природе. Стихотворная речь как таковая — всегда притязание на художество.

А с художества — и только художества — и спрос другой. И слова поэта Алексея Цветкова: “Стихи должны поражать” — не кажутся преувеличением. Именно что должны.

Но уцелеть в такой борьбе за выживание очень непросто, и статистически Толстой, выходит, прав: что за странная доблесть — говорить куплетами? Аттракцион такой, что ли?

Поэзия, конечно, роскошь, но для ценителей — крайне насущная. Я бы сравнил впечатление от шедевров лирики с воздействием утреннего крепкого, вручную сваренного кофе. Голод уже утолен. Впереди будничные дела. Но в считанные минуты, пока неспешно обжигаясь этой сладкой горечью, ты чувствуешь, что твои внутренние уровень и отвес на месте, и ненадолго совпадаешь с самим собой.

ПОЛЬЗА ПОЭЗИИ

Вообще-то говоря, поэзия — блажь, причуда, вроде сбора грибов или подледного лова. Но причуда причуде рознь, и принято считать, что поэзия — серьезное и небесполезное занятие. Правда, последние двести лет многих (и, вероятно, лучших) русских поэтов с души воротит от слова “польза”. Как малые дети, поэты требуют, чтобы их любили даром, уже за то, что они есть.

Право общество, относящееся к поэзии всерьез, но и поэзия права, отстаивая оплот собственной бесполезности.

Хорошо сидеть на припеке в траве и смотреть на реку. Но предположение, что солнце, растения, вода имеют целью и назначением доставлять нам удовольствие, вряд ли придет в здоровую голову; о смысле природы мы можем только гадать — каждый в меру отпущенного ему воображения, ума, темперамента. Вот и поэзия: ее конечные прямые устремления — неясны и загадочны; впечатление, которое она производит, — только косвенное следствие ее существования. Мы можем надеяться, что поэзия придет нам на помощь,

но мы не смеем требовать от нее помощи: поэзия — дар, а не зарплата. Только раз и навсегда приняв это к сведению, свыкнувшись с мыслью, что единственная обязанность поэзии — быть поэзией, допустимо, я думаю, погибать пальцы и прикидывать, есть ли у стихов какие-нибудь земные задачи? Ни на чем особенно не настаивая, предлагаю свои соображения.

Первое. Занятый по преимуществу словами и самим собой поэт изо дня в день пишет идеальный автопортрет, воплощает на бумаге мечту о себе. Тактичное иносказание “лирический герой” мы вольны понимать и в изначальном смысле — поэт героизирует себя, проявляет самые яркие свойства своей личности, приглушенные в быту житейским трением. Постоянное общение с идеальным двойником дисциплинирует автора, помогает ему не опуститься и выстоять. Автор чувствует, что слишком большой разрыв между ним и лирическим героем — пагубен для обоих: опустошенность отзовется в лучшем случае немотой, в худшем — пустословием.

Но нравственная отдача от творчества знакома не только пишущему, она ощущается и читателем.

Поэзия относится к реальности, как беловая рукопись к черновику. Драматизм жизни не выдумка искусства. Драма в природе вещей, но вещи ее застят. Поэзия наводит жизнь на резкость, и главная праздничная основа существования проступает из повседневной невнятицы. Поэзия — это сослагательное наклонение жизни, память о том, какими мы были бы, если бы не... Короче говоря, поэзия в состоянии улучшать нравы.

Второе. Жизнь, как известно, не сахар. Одиночество, может быть, самая горькая из всех напа-

стей. Человеку часто не с кем поделиться унынием, внезапной мыслью, хорошим настроением, но он открывает книгу и он — “уже не один”. Оказывается, совсем чужие люди — “уже были здесь”, думали, радовались, огорчались примерно так же, как он, и из-за того же самого, что и он. Теперь эти люди ему не чужие. Обнаружившееся духовное сходство мешает подростковому чувству собственной исключительности, но все мы рано или поздно становимся взрослыми и по горло сытыми собственной исключительностью людьми. Значит, искусство — это еще и общение. И поэзия — лучший способ общения, потому что самый эмоциональный.

И третье. Кофе на огне набухает, точно силится снять через голову свитер; в слове “поезд” уже наготове опоздание; после двадцатилетнего перерыва старый опальный поэт выступает на публике в пиджаке, застегнутом от воодушевления не на ту пуговицу... Это всё дорогостоящие мелочи мира, в котором мы почему-то очутились на время в первый и в последний раз. Стыдно быть тугим на ухо и подслеповатым. Если нас больше ругани обижает невнимание к нашему маленькому творчеству, то что говорить о равнодушии к Творению, о недуге машинального существования! Поэзия помогает ценить жизнь. Даже когда поэт клянет мироздание, он его все-таки заметил, оно его не на шутку взволновало. “Способность удивляться — главная добродетель поэта”, — сказал Мандельштам. Осмелюсь добавить, что эта способность — род признательности. Поэзия всегда в конце концов — бесхитростная благодарность миру за то, что он создан.

ТРУДНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

В какой части человеческого тела возникает удовольствие от поэзии? Если судить по себе (а таков при всем его несовершенстве и вопреки трамвайной уккоризне самый надежный способ суждения), это ощущение берет начало в дыхательных путях и полости рта. Никакие образные красоты и глубокомыслие не спасут стихотворения, если читателю просто-напросто не в радость произнесение строфы или даже строки. Один мой друг стал мне еще дороже после того, как ляпнул за бутылкой, что элегия “Редает облаков летучая гряда..” написана Пушкиным именно ради этой первой строки. Я давно был того же мнения, но все робел высказаться вслух. Наслаждение, которое доставляет ее произнесение, невозможно объяснить — у меня, во всяком случае, не получается. Здесь нет и в помине пресловутой логопедически-нарочитой звукописи, вроде бальмонтовского “Чуждый чарам черный челн..” или пастернаковского “В волчцах волочась за чулками..” И вместе с тем последовательность ударных и безударных слогов, чередо-

вание согласных и гласных звуков настолько идеальны, что хочется вновь и вновь повторять четыре обыкновенных слова: “Редает”. “Облаков”. “Летучая”. “Гряда”.

Эту, едва ли не физиологическую сторону воздействия лирики имел в виду английский поэт Альфред Хаусман (1859–1936), когда писал: “И вправду, поэзия представляется мне явлением скорее телесным, чем интеллектуальным... Я по опыту знаю, что, бреясь, мне лучше следить за своими мыслями, поскольку, если в память ко мне забредает поэтическая строка, волоски на моей коже встают дыбом, так что бритва с ними уже не справляется”.

Пройдя такой первичный, как бы на ощупь, отсев, стихотворение отправляется прямо в душу — назовем ее для солидности “психикой”. Теперь, в случае поэтической удачи, читатель, как на сеансе гипноза, подпадает под обаяние авторской речи о чем угодно, будь то любовь, грусть осеннего заката, умиление при виде младенца, угрызения совести и т. д. и т. п. Правда, от читателя требуются впечатлительность и развитое воображение. Совсем необязательно, чтобы любитель поэзии имел личный опыт житейских метаморфоз и треволнений, перечисляемых в стихотворении Пушкина, но, если он одарен способностью к сопереживанию, интонация отчаянной решимости растрогает его:

Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,

И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.

А ведь интонация, в сущности, — порядок слов, только и всего. Но порядок ничуть не менее таинственный, чем поэтическая звукопись, поминавшаяся выше. (Определение английского классика Сэмюэла Кольриджа (1772–1834), что поэзия — это “наилучшие слова в наилучшем порядке”, представляется избыточным: всякое слово делается наилучшим, когда стоит в самой сильной позиции, то есть речь идет снова же о его местоположении.) И мы перечитываем в любимых стихах не содержание, а именно интонацию, которая, разумеется, подпитывается буквальным содержанием стихотворения, но не сводится к нему.

Ну, например. Есть у Тютчева такое уже поминавшееся мной лирическое изречение:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

1869

Но пятью годами раньше и чуть ли не дословно ту же мысль высказал по-французски в частном письме И. С. Тургенев: “... сфинкс, который будет всегда перед всеми возникать, смотрел на меня своими неподвижными, пустыми глазами, тем более ужасными, что они отнюдь не стремятся внушить вам страх. Мучительно не знать загадки; еще мучительнее, быть

может, признаться себе в том, что ее вообще нет, ибо и самой загадки не существует вовсе”.

Сопоставление двух цитат практически одного содержания наглядно иллюстрирует различие в восприятии fiction и non-fiction. Тургенев доносит до адресата мысль, Тютчев тоже делится мыслью, но главное — передает умонастроение, сопутствующее ее появлению. “Дьявольская разница!” И впрямь: вывод — он и есть вывод, но протяженное раздумье, которому мы делаемся как бы причастны, доставляет неизъяснимое удовольствие, и хочется снова и снова оказываться во власти этой иллюзии. Сколько можно перечитывать невеселую мысль Тургенева? Два-три раза от силы. А строфу Тютчева ценитель поэзии пробормочет за жизнь про себя и вслух десятки раз. И потребность в повторении, и удовольствие от него объясняются “всего лишь” способом поэтического изложения — звуками, размером, ритмом, рифмами, порядком слов. Вот какие чудеса иногда творит версификация!

(Заметим между делом, что на высказывание одной и той же мысли стихотворной речи понадобилось вдвое меньше слов, чем прозаической.)

Одно важное уточнение. Есть интонация и — интонация. Первая, словно какая-нибудь трасса флажками, помечена знаками препинания, чтобы не промахнуть поворот содержания и не прочесть сгоряча, допустим: “Несется в гору во весь дух на утренней заре пастух...” Профессиональные чтецы, исполняя стихи со сцены, согласуют модуляции своего голоса по преимуществу с этими вешками синтаксиса, — поэтому актерское чтение, как правило, маловыносимо. С таким же формальным идиотским “выражением”

обычно учат декламировать стихи в школе. Все эти ужимки выразительности идут вразрез с глубинной лирической интонацией, для совпадения с которой нужно проявить подлинный артистизм и попасть в резонанс авторскому настроению. Разумеется, лучше всех дается лирическая интонация самим авторам, когда они воют стихи, как волки в полнолуние. Из некоторых особенно чувствительных читателей поэзии тоже иногда выходят неплохие оборотни.

Получать удовольствие от поэзии, оказывается, так непросто, что моя заметка больше похожа на предостережение, чем на агитацию. Как быть? А я еще обошел молчанием необходимую читателю стихов искушенность и начитанность, чтобы в полной мере наслаждаться мастерством, с каким автор обращается с приемом; кивать, будто старому знакомому, цитатам и заимствованиям; реагировать на остроумие и проч.

Чтение стихов — удовольствие одновременно сильное и трудное, и чем раньше пристраститься к этой радости, тем лучше. Как бы то ни было, любитель поэзии не останется внакладе хотя бы потому, что “поэзия утешает, не обманывая”, — сказал один многоопытный старик.

Хорошо бы смолоду попасть под влияние старшего, который любит стихи; хорошо, если этим старшим будет учитель литературы, но вовсе необязательно. Для меня таким человеком стал отец — он помногу читал их наизусть и вслух, причем правильно читал: без этого казенного “выражения”, зато с чувством и с толком — прикрыв глаза и самозабвенно подвывая.

ЭНИКИ-БЕНИКИ

Каждый из нас в младенчестве овладевает речью, чтобы выразить собственные желания и переживания, добиваться своего: боюсь жука, хочу на горшок, не буду кашу. Рано или поздно мы обращаем внимание на то, что некоторые слова забавно переключаются друг с другом — иногда бессвязно (*кошка/немножко*), иногда — чуть ли не со смыслом (*собака/кусака*). Но это не всё. На слух мы различаем, что одно и то же сообщение может “идти” как по маслу — “В полдневный жар в долине Дагестана..”, а может — будто через силу, волоком: “В долине Дагестана в полдневный жар...” Но в личной разговорной практике мы лишь изредка и случайно набредаем на рифму или стихотворный размер (“Пойду-ка я пройду с собакой...”) и в лучшем случае улыбнемся обмолвке, зная, что в обиходе размер и рифма — просто-напросто совпадение, что особая поэтическая складность не присуща речи изначально.

Поэтому профессиональный поэтический навык осмысленно говорить стихом всегда будет

оставлять впечатление какого-то чудесного исключения из неукоснительных правил и норм земной жизни с ее гравитацией, трением, энтропией и прочими враждебными процессами, включая старение и самое смертность, требующими от нас неусыпных усилий по преодолению или хотя бы отсрочке этих неудобств и бед. На том же праздничном отрицании ежедневного опыта стоит всякое трюкачество, например, фокус: мы готовы биться об заклад, что цилиндр пуст, ан нет — на наших глазах дядя во фраке извлекает за уши из цилиндрической пустоты и предъявляет публике живого кролика!

Словом, возвращаясь к теме моего рассуждения: изъясняться медленно и с трудом — естественно, говорить стихом — противоестественно, даже сверхъестественно.

И чем ближе регулярная, то есть обладающая как минимум стихотворным размером поэзия к разговорной речи, тем сильнее впечатление чуда. А с рифмой и подавно! Книжная речь и сама-то по себе довольно искусственна, так что эволюция ее в заведомо более искусственную стихотворную кажется чем-то довольно логичным и не так изумляет и веселит, как превращение в стихи общедоступной обиходной речи. Ведь знакомая женщина в ярком гриме удивляет сильнее модели с глянцевой обложки: у них там в их рекламно-гламурном зазеркалье все неправдоподобно эффектно — то ли дело у нас! Ровно поэтому, вероятно, и увлекает уже несколько поколений читателей стихотворный перечень всякой прозаической всячины, бегущей за окном кареты перед взором молодой провинциалки:

... вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

А какое сильное действие производит бытовое брюзжание лирического героя, клянущего свою рассеянность в шедевре Владислава Ходасевича! Бытовое брюзжание, но ямбом — и каким!

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, *что* себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

Игровая складность поэзии может восприниматься автором как иго и надругательство над нешуточной драмой жизни и придать стихотворению надрывно-трагическое звучание. При внимательном чтении авторское бешенство на версификационную кабалу слышится в “Элегии” Александра Введенского, в которой ткань стиха намеренно, будто изнаноч-

ным швом наружу, вывернута кондовыми рифмами напоказ:

Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят как спицы,
в полете нет пощады.
Они отсчитывают время,
Они испытывают бремя,
пускай бренчит пустое стрема —
сходить с ума не надо.

В говорении традиционным регулярным стихом (даже на неприятные темы) есть какая-то праздничная приподнятость, карнавальная привкус: ведь пересечь улицу пешком и надежней, и быстрее, чем пройти над ней по канату, однако только вовсе скучный человек не задерет голову, чтобы подивиться на канатоходца.

В пользу такого стихосложения Сергей Аверинцев приводил самые возвышенные доводы: “Что бы ни приключалось с героем... — но за одной хорейской строкой непреложно последует другая, и так будет до конца драмы; примерно так, как после нашей смерти будут до конца мировой драмы продолжаться сменяться времена года и возрасты поколений, каковое знание, утешая нас или не утешая, во всяком случае, ставит на место и учит мужеству”.

Почтительно присоединяюсь к мнению выдающегося ученого.

ДВЕ ПОЭЗИИ

О, бескрайние просторы вкусовщины!.. Читаешь одни стихи и ощущаешь, как говорится, кишками, что перед тобой — нотные знаки устной речи, естественной, как вдох и выдох. И то же самое, смутное, но безошибочное ощущение подсказывает, что такой же с виду “столбик” на соседней странице существует главным образом на письме и принадлежит в первую очередь письменной культуре.

С устными стихами мы без церемоний: бубним их под настроение через пятое на десятое, а запомненные пропуски латаем татаканьем — та-та́-та-та́ или заполняем чем Бог на душу положит. К двухсотлетию Лермонтова нескольким литераторам, включая меня, предложили прочесть на телеканале “Культура” по одному стихотворению юбиляра. Я выбрал “Сон” не только за гениальность, но и по лености: я знал его наизусть. Вернее, думал, что знал. Оказалось, что кое-какие лермонтовские глаголы и эпитеты за полвека чтения вслух и про себя я заменил другими, своими собственными — и, представьте, прекрасно обошелся. Чем не фольклорное соавторство?!

Лучше, конечно, знать классику на память без отсебятины, но иногда мне кажется, что подобное присвоение — хороший способ существования поэзии и добрый знак. Лишь только прекратится такое панибратство, поэзия угодит в библиотеку, на полку мертвых языков и станет безраздельным “достояньем доцента”.

Если чутье меня не обманывает, и под именем поэзии и впрямь сосуществуют два разных рода деятельности, то, вероятно, и сочиняются стихи по-разному. Один метод — *стихосложение*: процесс архаичный, дописьменный и “пастушеский”, вот именно — “закрыв глаза и на коне...” Когда автор будто подбирает мелодию на слух, в резонанс ходьбе и сердцебиению и в то же время — “заподлицо” с разговорной речью. В случае удачи новорожденным стихам передается такая мера естественности, что может показаться на миг, что никакая это к дьяволу не поэзия, а просто-напросто слова, положенные на дыхание, как на музыку:

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игорево Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?

Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Я думаю, что стихи вроде этого шедевра Бориса Чичибабина не требуют специальной работы запоминания и западают в память чуть ли не сами собой: улови то-нальность, следуй логике языка — и поддела сделано.

Другая же поэзия пользуется оборотами более искусственной, книжной речи и, будто бы чувствуя спиной подстраховку письменного запечатления, может позволить себе лексическое и синтаксическое своеволие — поперек и против течения языка, поскольку бумага все стерпит. За что, правда, и расплачивается бытованием по большей части на бумаге.

Это имел в виду Александр Межиров, со стариковской запальчивостью ополчившийся на переносы стихотворной фразы из строки в строку — излюбленный прием Цветаевой и особенно Бродского, так называемый анжембеман:

Останется лишь то, в чем нет анжембеманов,
Нет, потому что их быть вовсе не должно.
А то, в чем есть они, все то исчезнет, канув
В небытие, на дно, с поэтом заодно.

Лев Лосев высмеял предостережение Александра Межирова, и, на мой вкус, напрасно — что-то в этом косноязычном пророчестве есть. Впрочем, теоре-

тизировать можно сколько угодно, пока не ахнешь от восхищения над “неправильным”, “быть вовсе не должным” стихотворением Иосифа Бродского:

Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело...

Отличие “устной” поэзии от “письменной” особенно заметно при сравнении поэзии на родном языке с переводной. Их мнемонические заряды совершенно несоизмеримы, и, как правило, любитель стихов знает на память в разы меньше переводной лирики, чем оригинальной. Потому что оригинальный поэт любит, перефразируя Достоевского, “клейкие листочки” родной речи прежде ее смысла, а переводчица поэзии профессиональная добросовестность понуждает перво-наперво воплотить смысл, а “клейкие листочки” — постольку-поскольку. Но именно эти мелочи — главная радость ценителя поэзии. Лучше и не думать, какими бедными схемами вынужден довольствоваться читатель стихотворных переводов!

“Устная” поэзия безыскусна лишь с виду — искусства в ней хватает, но ее обаяние, подчас гипнотическое, в том и состоит, что стихам удается прикинуться обиходной речью и, выйдя за пределы риторики, обрести человеческое измерение и задевать нас за живое. Ведь и город имеет жилой вид, когда ширина улиц рассчитана на человеческий масштаб и позволяет видеть лица прохожих на противоположном тротуаре; поэтому, например, Манхэттен с его узкими улицами смотрится вопреки своей

Вероятно, сходным образом появляются на свет анекдоты или пословицы. Попытки вызывать шальное везение на себя обречены на провал, нередко сопряженный с чувством неловкости. Кто-то из великих выразился на эту тему вполне определенно: “Знал бы прикуп — жил бы в Сочи”.

Но с другой стороны: чтобы теплилась надежда на неверное лотерейное счастье, необходимо время от времени тратиться на лотерейный билет.

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

Поэт не развивается прямолинейно — из пункта А в пункт Б. Творчество знает топтание на месте, возвращение, кружение, но, в конце концов, внимательный наблюдатель в этой чересполосице различит несколько стадий поступательного движения.

“Начнем *ab ovo*”. Подросток определенно-го склада испытывает сильные лирические позывы и пользуется для облегчения души первыми попавшимися под руку словами. Из доброжелательности принято говорить о непосредственности детских опусов, но больше из доброжелательности; ничего *непосредственного* в первых пробах пера, как правило, нет: интонации, обороты — все чужое, издавшее виды. У подавляющей части младопишущих приступ возрастной графомании с молодостью же и проходит. Число претендентов на звание “поэта” заметно убавляется; можно даже сказать, что остаются люди со своеобразным иммунодефицитом: принимающая словесность слишком близко к сердцу.

Помню, много лет назад я шел по берегу Каспийского моря со стороны Мангышлака с приятелем.

лем по геологической партии — мы разговаривали о божественном. Он довольно легко согласился с моими доказательствами бытия Божия, но напоследок от души посоветовал “не заикливаться”.

Так вот, на следующий этап переваливают именно “заиклинные” — лет шестнадцати и старше — и рано или поздно находят себе подобных, возникают поэтические содружества. Память о юношеском чудесном взаимопонимании способна скрасить не один черный день в будущем. Занятно, что именно период ученичества и эпигонства нередко вспоминается зрелыми поэтами, как время, когда им особенно хорошо — не то что в зрелости — “пелось”. Есть в поэзии такая дежурная тема. “Пелось” им, скажем прямо, так себе, куда хуже, чем годы спустя, но лирического восторга и впрямь было хоть отбавляй — “растущий звон, волнение, неведомое миру”. Это пора хронического застолья, многословных прогулок, взыскательного чтения. Дружа с живыми, молодой поэт выбирает себе загробную компанию по вкусу, образцы для подражания, крепко привязывается к какому-либо славному литературному течению прошлого, незаметно для себя самого становится литератором. Казалось бы: живи и радуйся. Не тут-то было; осталось, как говорится, начать и кончить.

Литература просторна, и в ней непросто, но можно научиться худо-бедно сводить концы с концами — и в профессиональном, и в житейском смысле. Получать удовольствие от собственного труда и скрашивать досуг читателю, если повезет — заслужить премии и звания. И при всем при этом не сказать ни одного *живого* слова, никого не задеть

за *живое*, когда у самого поэта, а потом и у читателя мороз проходит по коже.

Для массы литераторов ничего, по сути дела, не меняется со времени отроческих поползновений: только тогда желторотый автор слагал неуклюжие вирши, выхватывая слова из словарного запаса наобум, а возмужавший поэт-профессионал набил руку и пишет крепкие стихи, выбирая с чувством, с толком, с расстановкой лексику, интонации, приемы из общего литературного имущества культуры, вроде как берет напрокат. Но его художественные средства все равно общие, то есть чужие. Такой род деятельности сродни бойкому переводу — личных эмоций на язык готовых литературных формулировок. С утруской, усушкой и прочими утратами, подчас присущими этому ремеслу. Вот незадача: жизнь — своя, а слова — не свои! Настоящему поэту такое положение вещей — нож острый. Неспроста советский режим, чрезвычайно чувствительный к форме собственности, безошибочно распознал в человеке искусства частника и предусмотрел для него обобществленные средства производства — метод социалистического реализма. Последствия этой эстетической коллективизации, как и установления колхозного строя в деревне, широко известны.

Поэт вроде старообрядца в общественной столовой: тому надо утолить голод, но нельзя пользоваться казенной посудой. Создание персонального заумного языка — один из способов выйти из затруднительного положения, но прибегают к этой уловке единицы, обрекающие себя тем самым на своеобразное одиночное заключение.

Остальным стихотворцам, склонным довольствоваться исконной словарной наличностью, предстоит очередной и не менее суровый, чем в отрочестве, отсев. Большинство пишущих так и будет беззаботно гонять туда-сюда из пустого в порожнее то одну, то другую эстетику, когда-то кем-то созданную исключительно для своих нужд, но давным-давно пошедшую по рукам и потерявшую в мытарствах смысл и породу. Десятки поэтических книжек можно издавать, не указывая на обложке фамилий авторов, потому что сочинители книжек, по существу, и не авторы вовсе, а безвольные медиумы моды, школы, тенденции. Неискушенный читатель этих сочинений имеет дело не с определенными личностями, а с глашатаями общих мест литературы, обоняет культурные поветрия. Один персонаж Льва Толстого с тщанием обставлял квартиру: "... было прелестно, — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели. В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга..." Вот и писательский средний класс — не более чем плодородный слой, гумус, обеспечивающий культурное брожение и прозябание, поддерживающий среду обитания в жилом виде к приходу настоящего автора. Это, может стать, необходимо и даже полезно в экологии культуры, ибо гарантирует непрерывность процесса и т. д., но какие "ножницы" между уровнем литературных притязаний такого номинального авторства и реальным назначением его бытования в литературе!

У меньшинства пишущих, кому самочувствие и самомнение (проще говоря, талант) не позволяют

быть отголоском безличной литературной стихии, смириться с участью культурного планктона, появляется аллергия на “литературу” в рутинном смысле слова — его имел в виду Верлен/Пастернак: “Все прочее — литература”. Взыскательный мастер начинает исподволь тяготиться искусством, на которое он же смолоду смотрел снизу вверх, требует от себя и собратьев по цеху “почвы и судьбы”, “дикого мяса”, “сумасшедшего нароста”.

Ведь что получается: в нас теплятся какие-то глубоко личные импульсы — назовем их для простоты “духовной жизнью”, — нам хочется высказаться, мы открываем рот — а вместо нас и за нас говорит литература. Так в “Двенадцати стульях” участники митинга, посвященного пуску трамвая, желая поделиться своими соображениями по поводу знаменательного события, говорили, как под гипнозом, о Чемберлене, румынских боярах и Муссолини.

Вызволить собственную речь из литературной неволи — вот задача, которую для себя и по-своему решает заново каждый стоящий поэт. И усилия для решения именно этой задачи и создают подлинное искусство. В процессе приручения беспризорного языка автор тратит творческую энергию, которая сохраняется в культуре очень надолго, если не навсегда. Выдыхается все: устаревает проблематика произведения, тиражируются некогда оригинальные приемы, достоинством начинающих становится виртуозная для своего времени художественная техника, позабываются или до неузнаваемости изменяются значения слов, а вот авторский трепет при обращении языка в свою веру остается и ощущается хорошим читателем как наличие *стиля*. Когда наша общая речь

превращается в “индивидуальное кровное наречие”. Безусловность и таинственная простота подобной метаморфозы вызывает оторопь восторга. Мне даже чудится при чтении, что книги талантливых писателей набраны каким-то особенным шрифтом.

Обретение собственного голоса — большое и редкое достижение, на котором, вообще-то говоря, можно и остановиться; многие и останавливаются, довольствуясь “небольшой, но ухватистой силой” (Есенин был несправедлив к себе). Считанные единицы продолжают развитие. До этого, последнего, этапа речь шла о естественном отборе в дарвиновском понимании — биологическом конкурсе врожденных способностей. Отныне необходим не только талант — нужно иметь *что* сказать и верить в *на-сущность* своего высказывания, то есть обладать недюжинными человеческими качествами: широким духовным кругозором, непраздным умом, восприимчивостью к опыту, честолюбием высокой пробы. Теперь мишенью досады становится не какая-то там “литература”, а собственные былые достижения. Дублировать их значит множить ту же “литературу”. Надо думать, это далеко не покойная участь — затяжная тяжба “с самим собой, с самим собой”. Личность такого масштаба обречена на эстетические открытия: авторскому стилю придется соответствовать темпу собственно человеческого развития. Иногда кажется, что в данном случае создание шедевра — не самоцель творческих усилий, а побочный результат всей жизнедеятельности. Конечно, принимать во внимание подобную идеальную фигуру — очень гамбургский счет, но без него мы имеем дело лишь с тщеславным ребячеством или трудотерапией.

Эти, быть может, азбучные истины пришли мне в очередной раз на ум после моего последнего посещения книжного магазина: понадобилось высказать мнение о нескольких новых поэтических сборниках. И я пролистал книжку, другую, третью и натолкнулся на слова, слова, слова, на безмятежную литературу, которой хватает себя самой, которая самой себе совершенно не в тягость. И я закрыл книжку, другую, третью. И я решил: чем горячиться и писать злобные рецензии оптом и в розницу, изложу я лучше своими словами стихотворение Гумилёва “Волшебная скрипка” (это где “Бродят бешеные волки по дороге скрипачей”, а потом — “И невеста зарыдает, и задумается друг...”). Что, собственно, я уже и сделал, как умел.

ТА-ТА́-ТА-ТА́ — МЕЧТА ПОЭТА

Поэзия — двулика. К большинству людей она повернута постной общеобразовательной физиономией, вызывающей довольно скучные ассоциации: смотр-конкурс, “Бородино” ко вторнику наизусть, лысая “народная тропа” к дому-музею классика. Оттуда, из этих казенных пределов — будь то школьная “лит-ра” или идиотски-мажорная трансляция в вестибюле метро — поэзия обычно и подает современникам свой безжизненно-авторитетный голос.

Но есть у поэзии и другое, так сказать, человеческое, лицо. Оно знакомо любому, кто сжился за свои сознательные годы с десятком-другим стихотворений, пусть часть слов переврана от обиходного употребления, или даже вовсе заменена на та-та́-та-та́.

Вероятно, оба облика поэзии — разные стороны одной медали, но они разнятся, как Родина-мать и просто мать. Поэзию как отрасль культуры положено чтить, и люди взрослые и просвещенные дают зевоту, но стараются соответствовать, изредка стыдливо блудя мыслью, что в варварском толстовском упо-

доблении стихов пляске за плугом что-то все-таки есть. Но, рано или поздно, публика нашла бы в себе силы махнуть рукой на приличия и не принимать участия в дурацком спектакле, если бы не тот — у каждого свой — короткий список.

Он составляется не для “галочки”. Когда мы наталкиваемся на поэтическую находку — среди прочих, вполне вроде бы “на уровне” стихотворений, — она тотчас воспринимается как переход от слов к делу, хотя именно словами дело и ограничивается. Но слова эти наделены какой-то заклинательной силой: под их влиянием возникает убедительный миф о эмоциях, вдохе и выдохе переживания. Особенно в молодости.

Скромность по боку, отдадим себе должное: поэзия сейчас на подъеме, не в последнюю очередь, вследствие нашей в ней заинтересованности. До тех пор, пока цитируется через пень-колоду, пока “в голове не укладывается”, как собеседнику может нравиться виршеплет X и не нравиться чертовски одаренный Y, — благодаря этим бурям в стакане воды, поэзия еще не прошествовала в библиотеку: замкнуться в гордом одиночестве, разделить почетную участь мертвых языков и стать, наконец, “достоянием доцента”. При соблюдении всего двух условий ей это и не грозит: если авторам, хотя бы изредка, улыбается удача, а читатели не утрачивают способности авторскую удачу ценить.

Одно мое недавнее пробуждение настроило меня на оптимистический лад, даже чересчур — будто весь эпизод сочинен каким-нибудь Андерсеном.

Я разлепил глаза и приступил к ежеутреннему обряду: не вставая с кровати, собирать до кучи окрестный мир, оставленный без присмотра на несколько ночных часов. В левом окне я с удовлетворением обнаружил красное кирпичное здание школы и облако над ним. В правом — исполинский тополь на изрядном отдалении, за счет чего он почти в полный рост умещается в оконном проеме. На ветру дерево мелко содрогается всей кроной сразу, и кажется, что пританцовывает на месте. Эти “два притопа, три прихлопа” скрашивают мне скверные дни тоски и немочи. Все вроде бы обреталось на своих местах. Звуки тоже по преимуществу были известные. Немолчный шум машин по переулку, привычно принимаемый здешними обитателями за тишину, внезапный всплеск матерка (видимо, кто-то, подавая из подворотни задом, наглухо перегородил проезд); воробьи разорялись, как и положено, листва шелестела, как должно, а вот, наконец, слух различил нечто новенькое — ну-ка, ну-ка... Сквозь зелень у сталинского дома напротив и сложный уличный гомон доносилось очень знакомое ритмизованное картавое завыванье, слов было не разобрать. Но спустя несколько мгновений я новый звук истолковал и успокоился: кто-то Бродского крутит в записи, или по телевизору передают, или по радио... Утренняя инвентаризация завершена — подъем.

За второй порцией кофе, окончательно отойдя ото сна, я спохватился, что, вообще-то говоря, нечаянно стал свидетелем удивительной живучести поэзии. Голос автора раздавался и мог быть узнан не в тепличном музейно-библиотечном затишьи, где на всякий шорох недовольно косятся, а запросто

сосуществовал с другими, обыденными и драгоценными, звуками улицы — и ничего: улица только выигрывала.

Слово “триумф” здесь не кажется чрезмерным. Но о *такой* жизни поэзии и, главное, уличном невозмутимом признании за ней права на *такую* жизнь лирик может только мечтать.

КАК, ЧТО, КТО...

Всю свою уже не короткую профессиональную жизнь слышу о главенстве стиля, или о превосходстве в искусстве “как” над “что”, если прибегнуть к сленгу посвященных. С этим не поспоришь: число историй для повествования (биографий, житейских хитросплетений, love story и проч.) практически не пополняется и не обновляется — Хорхе Луису Борхесу с лихвой хватило пальцев одной руки для подсчета столбовых сюжетов литературы. Но каждый проходит этот довольно типовой маршрут от рождения до смерти все-таки *по-своему* и мог бы рассказать об этом на *свой* лад, более того — рассказать интересно, а то и захватывающе. Мог бы, если бы обзавелся собственным стилем... На колу мочало.

Человек со стороны или новичок может счесть обретение стиля результатом свободного выбора. Мол, писатель или какой-нибудь еще “творческий работник”, прежде чем взяться за дело, прикидывает: писать ему просто, по-людски или позаковырестей — “стилем”; а если стилем, то каким? Будто речь идет о стилях плавания.

Механизм обзаведения стилем представляется иным. Стил в словесности — производное от предельно точного, без зазора совпадения слова с авторским видением и пониманием предмета. Нехорошо, приблизительно сказано. Вторая попытка: лишь точно назвав предмет или явление, автор понимает, что он имел в виду — другой образ действия ему заказан. А так называемые простые смертные, описывая какое-либо явление или предмет, стараются воспроизвести общепринятые формулировки, которыми данное явление или предмет по традиции описывается. Звучит высокомерно, но вполне вероятно, что наша массовая приверженность общим местам — единственный залог возможности взаимопонимания! Если, скажем, я забыл, как будет на иностранном языке “яблоко”, и прошу дать мне нечто “круглое”, “сладкое” и “красное”, то все-таки у меня есть надежда, что рано или поздно я именно яблоко и получу, а взыскательный художник пусть себе бунтует против этих заезженных и приблизительных эпитетов и подыскивает свои, точные. Бог в помощь!

Доведенную до предела авторскую точность, когда знакомое видишь, как новое, принято называть стилем. Нередко оказывается, что стил и писатель настолько одной крови, что трудно отличить бытовые бумаги автора от его собственно художественной работы. Вот выдержка из деловой переписки: “Райгидротехник от тележной тряски, недосыпания, недоедания, вечного напряжения стал ползать, перестал раздеваться вечером и одеваться утром, а также мыться. Говорит, зимой сделаю все сразу”. Андрей Платонов, разумеется: льва видно по когтям.

Поиски стиля подогревает и ревность автора к чужим, “ошибочным” или ложным, версиям близкой ему темы. Когда интервьюер с улыбкой, как взрослый подростка, спросил Алексея Германа, не из духа ли противоречия по отношению к показу войны в советском кино снята “Проверка на дорогах”, Герман тотчас сердито согласился, что, конечно же, из духа противоречия — а как иначе?!

Разновидность точности — лаконизм — тоже примета стиля. Ставшая штампом фраза Чехова про “краткость — сестру таланта” по большей части употребляется некстати — как похвала произведениям скромного размера, тогда как Чехов наверняка имел в виду отсутствие красот и излишеств, строгую соразмерность средств и цели высказывания. Иначе и быть не могло: ведь он чтит и любил Льва Толстого, у которого счет идет на сотни страниц, а многословия нет. В этом смысле, все стоящие писатели — минималисты.

Широко известны слова Толстого, что, возмись он передать содержание “Анны Карениной”, ему пришлось бы написать роман заново. Андрей Платонов высказался по сходному поводу не менее выразительно: на просьбу издателя “кратко объяснить, в чем идея и тема” его произведения, он ответил несколько недоуменно, что “никакая тема не поддается более краткому изложению, чем ее возможно изложить в книге”.

Стиль внимает не только диктовке авторского внутреннего голоса, но и разноголосице эпохи. Какие-либо поветрия, новшества в языке могут восприниматься современниками как порча и даже вырождение, пока кто-либо во всеоружии таланта

не возьмет ущербную речь в оборот и не извлечет из нее стиль.

“Ко мне подошел Тимошенко, солдат третьего орудия, грабитель и насильник, он отвернул свой темно-зеленый полушубок и показал рану. Осколок попал ему в член. Рыдая, он взобрался на свою лошадь и ускакал, больше я его не видел”. Это не Бабель, а из воспоминаний поручика С. И. Мамонтова; но беспечное озверение пополам с истерикой, видимо, ощущались в самом воздухе Гражданской войны и сделались лейтмотивом “Конармии”. А когда бессловесные массы внезапно обрели дар речи и принялись наново именовать мир, Платонов открыл в этом косноязычии смысл и душу. А Зошенко в ту же пору взял за исходную точку стиля язык коммунальных квартир и “трамвайных перебранок”.

Так что большие стилистические открытия объективны и сопоставимы с выдающимися открытиями в естественных науках. Закон всемирного тяготения существует сам по себе от начала времен, но именно Ньютон обнаружил его существование.

И примеров подобного наведения реальности на резкость в искусстве немало.

Смолоду я считал условностью живописи Возрождения виды сквозь высокие узкие окна с неправдоподобно большим обзором, вмещающим небо, горы, долину с рекой и белыми петлями дороги. Пока однажды не забрел в церковные руины под Кутаиси и не увидел через щербатый оконный проем примерно ту же панораму. На недавней московской выставке Пауля Клее можно было прочесть и дневниковую запись художника: “Искусство не изображает видимое, но делает его видимым”.

Правда, собственный стиль, даже очень яркий и абсолютно узнаваемый, не гарантирует писателю легкой жизни. Лишь постоянный приток душевной энергии и вера в насущность своего сообщения предупреждает превращение стиля в хватку мастерства. На эту тему — о “строчках с кровью” и т. п. — великими авторами сказано много горьких и гордых слов.

Давным-давно я прочел высказывание, кажется, Огюста Ренуара, что-де в искусстве главное не *что* и не *как*, а *кто*. Но даже если я запомнил, и это было сказано кем-то другим, все равно, похоже, так оно и есть.

ПАРАДОКС АКЫНА

Семена Израилевича Липкина нельзя было не уважать. Помимо других талантов и добродетелей, его отличали неприязнь к красному словцу и точность, затрудняющая безмятежный треп. Как-то я в легком разговоре, совершенно не предвидя возражений, вскользь и пренебрежительно помянул акына Джамбула, лауреата Сталинской премии и многократного орденоносца. “Это вы напрасно, — вдруг сказал Липкин. — Я был с ним знаком. Он был умен и ему принадлежит лучшее из известных мне определенных поэзии: «Поэзия утешает, не обманывая»”.

Как такое возможно, ведь существует взрослое, основанное на опыте знание, что правда по большей части безрадостна?

Здесь полезно “поверить гармонию алгеброй” и пристальней присмотреться к процессу с торжественным названием “творчество”.

Счастливая случайность в искусстве поэзии значит, быть может, больше профессионализма и пресловутой техники. Давным-давно и не раз замечено, что настоящую поэзию мутит от профессионализма,

в первую очередь, от собственного. Похвалы вроде “от зубов отскакивает” это не про поэзию, с этим — в конференс или скоротать ненастье за игрой в буриме. Версификационная сноровка главным образом и пригождается, чтобы счастливую случайность подметить и не упустить.

Больше, чем к любому другому искусству, к поэзии имеет отношение сказочное напутствие — пойдй туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

Желаемого результата достигает ремесло — на том стоит мир:

Летчик водит самолеты —

Это очень хорошо!

Повар делает компоты —

Это тоже хорошо.

Доктор лечит нас от кори,

Есть учительница в школе.

А творчество высокой пробы каждый раз изумляется собственной удаче — “ай да Пушкин! ай да сукин сын!” — будто она свалилась как снег на голову, а не была гарантирована талантом и мастерством.

Допустим, Пушкин нам не указ — он всего лишь гений... Но Бог! Бог — Абсолютное Всемогущество по определению! На первой же странице Библии читаем, как Он, создавая свет, небо, флору, фауну и проч., лишь по завершении каждого этапа Творения, задним числом видел, “что это хорошо”. (Зубной врач или электрик, простодушно ликующий в связи с удачным исходом профессиональных манипуляций, наверняка внушили бы нам кое-какие опасения.)

Такая вот, на обывательски-здравый взгляд, странная, едва ли не дилетантская реакция на сделанное дело. Однако подмеченная странность кажется не просто занятным совпадением, а стойким признаком всякой творческой работы. И эстетическое удовольствие в большой степени не что иное, как разделенный публикой восторг автора из-за случившегося с ним чуда: он внезапно посрамил свои же представления о собственных возможностях — превзошел *себя*. (В этом, если вдуматься, — коренное отличие искусства от спорта с его *одним-единственным* и *общим* рекордом *на всех* участников того или иного состязания.)

Занятия искусством, по убеждению Владимира Набокова, наводят на мысль, что “при всех ошибках и промахах внутреннее устройство жизни”, как и устройство “точно выверенного произведения искусства... тоже определяется вдохновением и точностью...” А раз так, то применительно к бытию не вовсе заказаны представления о замысле!

Именно эстетическое совершенство какого-либо изделия человеческого гения может свидетельствовать в пользу метафизической подоплеки искусства. Праведное содержание здесь ни при чем.

Иногда что-то такое подозревая, я с понятной радостью прочел у Аверинцева: “Классическая форма — это как небо, которое Андрей Болконский видит над полем сражения при Аустерлице. Она не то чтобы утешает, по крайней мере, в тривиальном, переслащенном смысле; пожалуй, воздержимся даже и от слова “катарсис” как чересчур заезженного; она задает свою меру всеобщего, его контекст, — и тем выводит из тупика частного”.

Кажется, библейская Книга Иова без насилия поддается прочтению как притча о герое и авторе, о “тупике частного” и о воле замысла*.

Это история человека, который процветал и благодарил Господа за свое процветание, но Тот по наущению сатаны поставил над счастливым праведником жестокий эксперимент: лишил всего, чтобы проверить, насколько бескорыстна его набожность. И Иов терпел, терпел ужасные лишения, а потом возроптал. И, невзирая на глубокомысленные и красноречивые уговоры советчиков-доброхотов, он оставался безутешен, криком кричал и — докричался до Бога. И Бог Иову ответил, но не на человеческий лад, а на какой-то *иной*... Вместо разговора о бедах, обрушившихся на Иова, Всевышний повел величественную, пространную, страстную и местами язвительную речь об... “основаниях земли” и “уставах неба”, пропитании львов и воронов, сроке беременности и родах ланей, анатомии бегемота и т. д. и т. п. и даже довольно забавно подражал голосу коня, вторящему звуку боевой трубы. По замечанию Честертона, “Создатель отвечает восклицательным знаком на вопросительный”. Время от времени Господь прерывает эту торжествующую инвентаризацию риторическим вопрошанием, по силам ли Иову создать нечто подобное.

Здесь, сдается, ключ к парадоксу Джамбула.

Вероятно, и мы, соперяживая искусству, уподобляемся Андрею Болконскому перед лицом неба или — в миниатюре — многострадальному Иову, озирающему с подачи Творца Его великий замысел

* Об этом — статья А. Сопровского “О Книге Иова”.

одновременно и целиком, и в подробностях. Под порывами мощного авторского воображения мы словно возносимся на творческий ярус мира, и, пока эта иллюзия в силе, маленькая человеческая доля предстает нам сопричастной одухотворенному миропорядку, видится — *другими глазами*.

Сухо и убедительно высказался на данную тему Владислав Ходасевич: “Кажется, в этом и заключена сущность искусства (или одна из его сущностей). Тематика искусства всегда или почти всегда горестна, само же искусство утешительно. Чем же претворяется горечь в утешение? — Созерцанием творческого акта — ничем более”.

Вот они и пришли к одному и тому же выводу — обласканный тираном лукавый долгожитель акын и немолодой беженец в пенсне и демисезонном пальто. Под настроение можно пофантазировать, как теперь в “садах за огненной рекой” они сверяют свои прижизненные умозаключения с правильным ответом.

СОДЕРЖАНИЕ

Праздник (1973–1994)

Стансы	9
--------------	---

I

“Среди фанерных переборок..”	15
“Сигареты маленькое пекло..”	17
“До колючих седин доживу..”	19
“Я смежу беспокойные теплые веки..”	20
“Есть старый флигель угловатый..”	21
“Как просто все: толпа в буфете..”	23
“Цыганскому зуду покорны..”	24
“Сотни тонн боевого железа..”	25
Декабрь 1977 года	27
Друзьям-поэтам	29
“Ружейный выстрел в роще голой..”	31
“Чуть свет, пока лучи не ярки..”	32
“Я был зверком на тонкой пуповине..”	33
“Без усталы вокруг больницы..”	35

II

“Что ж, зима. Белый улей распахнут...”	39
“Раздвину занавеси шире...”	40
“Мы знаем приближение грозы...”	41
“Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом...”	43
“Бывают вечера — шатается под ливнем...”	44
“Сегодня дважды в ночь я видел сон...”	45
“Грешный светлый твой лоб поцелую...”	47
“Когда волнуется желтеющее пиво...”	49
“Здесь реки кричат, как больной под ножом...”	50
“Опасен майский укус гюрзы...”	51
“Лунный налет — посмотри вокруг...”	52
“Давным-давно забрели мы на праздник смерти...”	53
“А вот и снег. Есть русские слова...”	54
“Далеко от соленых степей саранчи...”	56
“Будет все. Охлажденная долгим трудом...”	58
“Это праздник. Розы в ванной...”	60

III

“Картина мира, милая уму...”	65
“Расцветали яблони и груши...”	67
“Дай Бог памяти вспомнить работы мои...”	69

“Рабочий, медик ли, прораб ли...”	72
“Вот наша улица, допустим...”	74
“Чикиликанье галок в осеннем дворе...”	76
“Молодость ходит со смертью в обнимку...”	78
“Ливень лил в Батуми. Лужи были выше...”	80
“Светало поздно. Одеало...”	81
“Зверинец коммунальный вымер...”	84
“В начале декабря, когда природе снится...”	86
“Еще далёко мне до патриарха...”	88

IV

“Самосуд неожиданной зрелости...”	93
“Когда, раздвинув острием поленья...”	95
“Есть в растительной жизни поэта...”	96
“Стоит одиноко на севере диком...”	97
Элегия	98
“Мое почтение. Есть в пасмурной отчизне...”	99
“Растроганно прислушиваться к лаю...”	101
“Ай да сирень в этом мае...”	102
“Весной, проездом, в городе чужом...”	103
“Мне тридцать, а тебе семнадцать лет...”	105
Два романа	106
“И с мертвыми поэтами вести...”	108
“Устроиться на автобазу...”	110

“Отечество, предание, геройство...”	111
“Что-нибудь о тюрьме и разлуке...”	113
“Поездка: автобус, безбожно кренясь...”	115
“Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять...”	116
“Косых Семен. В запое с Первомая...”	117
“Еврейским блюдом угощала...”	119
“Скрипит? А ты лоскут газеты...”	120
“Сначала мать, отец потом...”	121
“Неудачник. Поляк и истерик...”	123
“Все громко тикает. Под спичечные марши...”	125
“Вот когда человек средних лет, багровея, шнурки...”	126

Стихотворения 1995–2018

“Как ангел, проклятый за сдержанность свою...”	131
“Когда я жил на этом свете...”	132
“Есть горожанин на природе...”	133
«“Пидарасы”, — сказал Хрущев...”	134
“Найти охотника. Головоломка...”	135
“Социализм, Москва, кинотеатр...”	136
“идет по улице изгой...”	138

“Так любить — что в лицо не узнать..”	139
“Баратынский, Вяземский, Фет и проч....”	140
“Осенний снег упал в траву...”	141
На смерть И. Б.	142
“Раб, сын раба, я вырвался из уз...”	144
“близнецами считал а когда разузнал у соседки...”	145
“Мама чашки убирает со стола...”	146
“всё разом — вещи в коридоре...”	147
“Я по лестнице спускаюсь...”	148
“Фальстафу молодости я сказал “прощай”...”	159
“видимо школьный двор...”	150
“Цыганка ввалится, мотая юбкою...”	151
“Мою старую молодость, старость мою молодую...”	152
“чтобы липа к платформе вплотную...”	153
“Выживать мелочь со дна кошелька...”	154
“Ржавчина и желтизна — очарованье очей...”	155
“Признаки жизни, разные вещи...”	156
W	157
«“Или-или” — “и-и” не бывает...”	158
“Драли глотки за свободу слова...”	149
“В коридоре больницы будто крик истерички...”	160
“В черном теле лирику держал...”	162
“Мне нравится смотреть, как я бреду...”	163
«“О-да-се-вич?” — переспросил привратник...”	164
“Очкарику наконец...”	166

Портрет художника в отрочестве	167
Антологическое	169
“Мама маршевую музыку любила..”	170
Голливуд	171
“А самое-самое: дом за углом...”	173
“У Гоши? Нет. На Автозаводской?..”	174
“Старость по двору идет...”	175
“Вот римлянка в свои восемнадцать лет...”	176
Подражание	177
“Когда я был молод, заносчив, смешлив...”	178
“Обычно мне хватает трех ударов...”	180
“Animal planet”	181
“Вчера мне снился скучный коридор...”	182
“Старый князь умирает и просит: “Позовите Андрюпу”...”	183
“Говорю ли с женой об искусстве...”	184
Из Екклесиаста	185
“Tombe la neige”	186
Смерть в Париже	187
Сказка	188
“За соловьем не заржавеет...”	189
“Детский ад на старинной картинке..”	190

Домашняя работа

(Рассуждения о поэзии)

От автора	193
Танцы за плутом	195
Польза поэзии	203
Трудное удовольствие	207
Эники-беники	213
Две поэзии	217
Волшебная скрипка	223
Та-та́-та-та́ — мечта поэта	231
Как, что, кто... ..	235
Парадокс акына	241

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА

СТИХИ И ЭССЕ О СТИХАХ

18 +

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Главный редактор ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Редактор АЛЛА ХЕМЛИН

Ответственный за выпуск ОЛЬГА ЭНРАЙТ

Технический редактор НАТАЛЬЯ ГЕРАСИМОВА

Корректор АННА АРЕФЬЕВА

Верстка МАРАТ ЗИНУЛЛИН

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 — книги, брошюры

Подписано в печать 03.10.18. Формат 84 × 108 1/32

Бумага офсетная. Гарнитура *Original Garamond C*

Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44

Тираж 1500 экз. Заказ № 3105.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами

в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, телефон/факс: (4822) 44-42-15

Home page — www.tverrk.ru. Электронная почта (E-mail) — sales@tverrk.ru

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Произведено в Российской Федерации в 2019 г.
Изготовитель — ООО "Издательство АСТ"

ООО "Издательство АСТ"
129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7 этаж
Электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

"Баспа Аста" деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звездный бульвары, 21-үйі, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО "РДЦ-Алматы"
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в Республике Казахстан: ТОО "РДЦ-Алматы"

Интернет-дүкен: www.book24.kz
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы "РДЦ-Алматы" ЖШС
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі "РДЦ-Алматы" ЖШС
050039 Алматы қ., Домбровский көш., 3 "а", литер Б, офис 1
Тел.: +7 (727) 251-59-89, 90, 91, 92, факс: +7 (727) 251-58-12, доб. 107
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

По вопросам оптовой покупки книг обращаться по адресу:
123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2, БЦ "Империя", а/я №8;
Тел.: +7 (499) 951-60-00, доб. 574
E-mail: opt@ast.ru





Биография Сергея Гандлевского (р. 1952) типична для целого круга авторов: публикации в сам- и тамиздате, отщепенство и т. п. Признание к обитателям культурного “подполья” пришло в 1990-е. Гандлевский — лауреат нескольких литературных премий, его стихи и проза переведены на многие языки. “Счастливая ошибка” — наиболее полное на сегодняшний день собрание стихов Сергея Гандлевского. В книгу также включены эссе, в которых автор делится своими мыслями о поэзии.

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ